

ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО



РАССКАЖУ...

КОНТУР ВРЕМЕНИ

Ирина Петровна Мирошниченко

Расскажу...

Серия «Контур времени»

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25204495
Ирина Мирошниченко. Расскажу...: АСТ; Москва; 2017
ISBN 978-5-17-982764-1, 978-5-17-982765-8*

Аннотация

В книге замечательной актрисы советского и российского театра и кино Ирины Мирошниченко рассказывается о наиболее значимых событиях ее жизни. Погружаясь в чтение, вы ощутите присутствие автора, «услышите» ее голос, настолько искренне и доверительно ведет она свое повествование. Книга полностью оправдывает свое название – «Расскажу...», поскольку написана она как плавная живая речь. Это монолог актрисы, которая хочет, чтобы в ней увидели человека – тонко чувствующего красоту мира, жадного до жизни, страдающего и любящего.

Содержание

* * *	5
* * *	8
* * *	85
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Ирина Мирошниченко

Расскажу...

В книге использованы фотографии из архива И. Мирошниченко

© Мирошниченко И. П., 2017

© Издательство АСТ, 2017



Здравствуйте, мои дорогие читатели, если хоть кто-нибудь купил эту книжку, первую в моей жизни и, естественно, самую что ни на есть трепетную и искреннюю, надеюсь. Поскольку никогда этого не делала, но вдруг очень захотелось. Захотелось рассказать. Что рассказать? Свою жизнь, людей, время, ощущения. Может быть, что-то из своей профессии. Может, вам будет просто интересна моя жизнь. Но всегда, наверное, трудно осознать ее, и всегда кажется, что ты ее познаешь как никогда точно и остро именно сегодня. Поэтому я и хочу начать с сегодняшнего дня. А сегодняшний день – это XXI век, это 2008 год. На дворе лето. Только что открылся 30-й Международный кинофестиваль. На котором я была гостьей, не более того. Дань уважения за прежние заслуги, за многолетнее присутствие и все-таки приобщение к кинематографу советскому и чуть-чуть российскому, но больше – советскому. Красная дорожка, по которой я пошла уже не в первый раз, к сожалению, не со своим фильмом, не со своей съемочной группой, а просто пригласила к себе в партнеры молодого актера нашего театра, талантливого, интересного, очень интеллигентного и скромного, с которым просто красиво можно было пройти по красной дорожке.

Девятнадцатого июня подъехали на машине, не как всегда, когда я опаздываю, а чуть ли не первыми. А время уже

было начинать. Открыли какие-то створки при входе на эту красную дорожку, и вот мы пошли. Я долго готовилась к этому торжественному выходу, потому что была паршивая погода и я не знала, что надеть. Конечно, красивое вечернее платье. Но поскольку на дворе, еще раз повторяюсь, 2008 год и мне уже, увы, достаточно много лет и огромное количество болезней и впереди я должна сыграть заключительный спектакль этого сезона, «Чайку», в Московском Художественном театре, в котором я работаю всю жизнь, то мне нельзя простужаться. Я поверх этого вечернего платья надеваю какое-то совершенно сумасшедшее, очень красивое, от Сергея Сысоева красное пальто-балахон, закутываюсь и вот по этой красной дорожке в красном пальто я выхожу, и вдруг – взрыв аплодисментов, крики, свист и «Ирина!», «Ирина!», «Ирина!». Протянутые руки и желание получить автограф. Я перехожу от одной группы людей за бортиком к другой, нервно подписываю фото и билетки. Не скрою от вас, сердце зашло от счастья, хотя я понимаю, что здесь стоит очень много молодежи, которая, может быть, меня не знает, не помнит и совсем знать не хочет. Теперь другие фамилии, другие имена. Но тем не менее кричат. А может, все-таки знают? Среди них есть и поколение мое. Вот этот прием и пронзительные, восторженные крики – это дорогого стоит. Ты понимаешь, что, наверное, за этим стоят годы жизни, мучения, работы, успеха, провалов, порой унижений. Трудных лет. Разных. Моя жизнь. Мне это было очень приятно.

Хотя еще раз говорю, и говорю совершенно откровенно, я понимала, что у меня нет фильма, что я сегодня не снимаюсь в новых кинолентах. Что ко мне не может быть такого повышенного интереса, как ко всем сегодняшним фамилиям, и это нормально. Нет комплекса по этому поводу. Есть, конечно, внутреннее сожаление и желание: а может, что-то еще сделать? А может, как-то судьба повернется и все будет по-другому? Не знаю. Эти чувства есть. Но важно одно. Мне показалось, что я еще нужна людям. И поэтому мой рассказ и мое желание общения с вами – оно не супертщеславие, не желание напомнить о себе, а, наверное, искренняя необходимость. Конечно, хочется всегда начинать с детства. Но я все равно пойду другим путем. Все ассоциативно от сегодняшнего дня. Итак...



Смотрю по телевизору футбол, который в жизни никогда не смотрела. Вообще этим не интересуюсь. Брат у меня был спортсмен, а у меня как-то так с футболом никаких взаимоотношений, кроме... кроме одного, потом расскажу. Почему стала смотреть футбол? А потому что накануне у меня дома были друзья – Николай Скорик, режиссер Московского Художественного театра, с которым мы много лет работаем вместе и дружим. Дружим с ним, с его женой Танечкой Розовой, дочкой великого драматурга Виктора Сергеевича Розова. С ней мы играли в спектакле «Эквус» в постановке Коли. Сейчас играем в «Немного нежности». И самое главное – за плечами «Чайка». Коля был ассистентом у Олега Николаевича Ефремова, который ее поставил, а потом сделал новую редакцию этого спектакля, который я играю по сегодняшний день. Так вот, они накануне этого футбольного матча были у меня дома. И оказывается, Танюшка – жуткая болельщица. Она просто рвалась домой, прервав ужин, потому что начинался футбол. Я говорю: «Прекрати. У меня в принципе есть телевизор, смотри». Она ушла в другую комнату. Мы с Колей сидим одни, что-то обсуждаем, и вдруг слышим вопли, стоны, крики: «Ну давай! Бей!» – «Слушай, она у тебя какая-то ужасно азартная. Да?» – говорю я. Таня в ответ оттуда: «Вы ничего не понимаете, это так интересно! Потому что

это настоящая жизнь, это сиюминутно. Как театр».

Черт возьми, на следующий день играют наши. Ажиотаж по телевидению весь день. Я живу на Тверской. Без конца ездят какие-то фанаты, ходят с флагами, шум, гам. Ну, думаю, посмотрю. О Боже, оторваться не могу. Сама, как дурьнда, сижу в кресле, потом мне кажется, что пора бить: «Ну что ж ты, бей!» Такие чудные ребята, такие молодые, такие очаровательные и такая внутри гордость, что они такие озорные, азартные, одержимые, сильные. Вдруг я почувствовала невероятное ощущение радости и гордости за них и тут же вспомнила 1967 год, почему, собственно, об этом и рассказываю. Тогда от Совэкспортфильма с моим первым большим фильмом «Их знали только в лицо», который был куплен очень многими странами, меня послали в составе делегации, ну делегация была небольшая: я и представитель Совэкспортфильма, в две страны – в Гвинею и Сенегал. Так вот началось все в Гвинее. И в этой Гвинее, в которую я приехала впервые, в Африку, в чернокожую страну, ужасно для меня все было интересно. И более того, приехала я не туристкой, как сейчас модно, а кинозвездой от Советского Союза. От огромной страны. И вот мне почет, уважение и прием в нашу честь в посольстве. Когда я должна была выступить в одном открытом кинотеатре и наконец вышла на сцену, вдруг часть зрителей, увидев меня и устроив овацию, запрыгнули на лавки. Тут не кричали «Ирина!». Они не могли выговорить мое имя и фамилию. Просто улюлюкали от восторга,

потому что, наверное, что-то стояло перед ними диковинное – беленькая, худенькая – другое, чужое. А может, для них красивое.

Потому что часто, когда мы там ездили или ходили куда-то, просто подносили детей, чтобы они ко мне прикоснулись, как к чему-то солнечному, чужеродному, чему-то странному и, может быть, даже чуть-чуть божественному – как мне переводили.

Так вот, в рамках этого действия и приема нашей делегации однажды на меня возложили очень почетную миссию: выйти на футбольное поле, где должны были играть сильные футбольные команды. Выйти с их министром культуры, худеньким, очень интеллигентным, прекрасно говорящим на французском языке, поскольку он учился в Сорбонне, очень красивым, как мне казалось, человеком и очень деликатным. Мы с ним должны были выйти в центр поля, и я должна была сделать первый удар. Но у меня каблуки, белое платье, и вот я по этому травяному полю первый раз в жизни ступаю, проваливаюсь этими самыми каблуками, иду на цыпочках, держа марку, статью, рост и вообще «звездность». Весь стадион улюлюкает. Я с трудом дохожу до центра и думаю, как бы мне попасть по этому мячу, который передо мной лежит, и как бы так исхитриться, чтобы все-таки какой-то удар получился. Я как-то неуклюже разбежалась и ударила, но туфля, естественно, подло упала, и я осталась с босой ногой. Вторая нога в туфле, но мяч все-таки полетел, его тут же подхватили

футболисты. Я спокойно наклоняюсь, снимаю вторую туфлю и босиком обратно к нам, в начальственную ложу. Естественно, что эта ассоциация возникла у меня, когда я смотрела наш матч.

Что-то здесь нас роднит. Роднит, наверное, то, что я тогда тоже представляла огромную страну. И нельзя было уронить достоинство и честь огромной державы даже в мелочи. Это невероятное ощущение, которое я понимала даже тогда, когда была совсем девчонкой с первым фильмом. А каково же ощущение наших ребят сегодня? Они совсем молодые, может, еще моложе меня, и борются, сражаются за честь России. И я подумала, глядя на них, что неважно, кто они, социально равны или не равны, к какому клану или социальному слою относятся. Но есть нечто общее, что их все равно роднит. И даже через столько лет я вдруг абсолютно точно вошла в воспоминания и поняла, что люди очень похожи. Но пройдут годы, может быть, нас не будет, «изменится мода, изменятся пиджаки, но жизнь будет все равно все та же. Полная тайн и счастливая». Почти такими же словами, увы, повторяюсь, говорил великий Чехов. Я играла на протяжении многих-многих лет в спектакле «Три сестры» Машу, где точно так же сидят, как сегодня, и пытаются пофилософствовать Вершинин, Тузенбах, Маша о том, какая будет жизнь через двести лет. Но вот играя тогда, я так остро не задумывалась о том круге мыслей, которые сейчас у меня рождаются по прошествии довольно многих лет. Потому

что я вдруг понимаю, что Чехов писал удивительно проникновенно и точно. Вот поэтому он и гений. Предугадав вперед все то, что потом человек может испытывать. И приблизительно эти же самые мысли возникают у каждого, наверное, человека. В минуты, когда ему бывает очень трудно. В минуты, когда он кого-то лишается, кого-то хоронит, с чем-то прощается. Может быть, прощается со своей любовью, со своей надеждой. Может быть, наступает какой-то другой период жизни. Когда его жизнь побила, и он понимает, что все равно надо, надо жить.

И это все описывается в пьесах Чехова. Эти чувства, эти ощущения. Поэтому невольно сразу же хочется перенестись совершенно в другой мир. В мир моей профессии. Когда ко мне приезжают журналисты практически в преддверии книжки, всегда спрашивают о детстве. И я начинаю вспоминать. А однажды я приехала с одной съемочной группой во дворик. В свой дворик детства. Мы смотрим – мое окошко. Камера снимает. Я трогаю ностальгически это окошко, которое уже почти не такое, какое было. И весь этот дворик, который уже почти весь по-другому сделан. Все с какими-то с железными воротами, с заборами. Ну вообще другая жизнь. Охрана ходит. Тогда все было иначе, конечно. Но тем не менее вдруг из соседнего подъезда выходит какая-то тетя. Не скрою от вас, даже не понимаю, кто это. Подходит ко мне и говорит: «Ирочка, ты меня не узнаешь?» Но, поскольку таких ситуаций у меня за жизнь было ну, тысячи, не преуве-

личиваю, я тут же улыбаюсь: «Конечно, конечно». Она: «Ты помнишь, как мы тут с тобой в детстве играли?» – «Конечно!» – говорю я, абсолютно не помня, истерически начинаю вспоминать, как ее зовут, как она выглядела и вообще, какая она была, но вида не подаю. А она говорит: «А я вот тебя помню! Тебе было лет шесть, стояла такая страшненькая, две косички, улыбка – рот до ушей, хоть завязочки пришей, так мы тебя все и звали. Зубы – через один. И на вопрос: “Ирочка, кем ты хочешь быть?” – ты всегда отвечала: “Кинозвездой”, – а мы хохотали». Я говорю: «Правда?» И, честно скажу, мне стало безумно стыдно, потому что я себя такой просто не помню. Я даже не предполагала, что такое могло бы быть. Я себя помню ужасно застенчивой, очень скромной, тихой, послушной. Меня никогда мама и папа не то что не били, не ругали. Как-то так сложилось, я всегда была послушная, хорошая ученица, такая хорошистка, правильная. Очень тихая. Чтобы я в шесть лет такое сказала! – это сработало подсознание. Что поразительно. И по прошествии стольких лет я думаю: «Черт возьми, как интересно устроено. Наверное, об этом я мечтала. Наверное, мне это очень нравилось». Хотя не было такого телевидения, как сегодня. Не было таких безумных реклам, огромного количества фильмов. Откуда взялась такая информация, не знаю. Наверное, от мамы, потому что она очень хотела, чтобы я была актрисой. Намного позже, когда она была уже совсем в преклонном возрасте, я стала выпрашивать ее, как я рож-

далась, как она меня вообще родила. Так вот она рассказала, что рожала она меня в роддоме в Барнауле, в эвакуации. Этот роддом она вообще не помнит. Очень мучилась. К пяти утра я наконец-то стала выбираться на свет божий, и мама вдруг увидела в окне, как на темном небе загорелась звезда. И она загадала: чтобы у нее то, что родилось, стало звездой. Рассказала она мне об этом, правду вам скажу, очень поздно. Недавно, практически перед своим «уходом». Но вот ее это неистовое желание, чтобы я кем-то стала, чтобы я стала действительно актрисой, чтобы я стала знаменитой, чтобы я что-то совершила в этой жизни, чтобы жизнь не прошла зря, наверное, и двигало мной. Не скрою, я ужасно на нее сердилась, злилась, была в жутком протесте, потому что мне казалось, что это все не нужно, все наносное, что это все фигня, и абсолютно слава не нужна. Она меня мучает, истязает без конца какими-то претензиями, что я это плохо делаю, это плохо играю, что я неправильно пою, что я неправильно одеваюсь, что я неправильно себя веду. Она все время меня, как мне казалось, муштровала. А теперь я понимаю, что она просто очень хотела, чтобы я стала лучше, и, конечно, просто безумно меня любила, она хотела, чтобы я достигла какого-то совершенства, которого все равно на свете нет. Я понимаю, есть вот это желание самосовершенствоваться, становиться лучше и лучше. И предела для этого тоже нет. Человек должен быть заряжен внутренней энергией, которая может тебя вести по жизни. Прошло много-много лет, мне

предлагают прилететь в город Барнаул с сольными концертами. Я говорю: «Давайте летом. У меня отпуск. Тем более, 24 июля у меня день рождения». – «Да? Ой, как здорово! Мы сообщим мэру, будем вас ждать». Лет семь или восемь назад я ездила летом в Барнаул. И они для меня приготовили невероятный сюрприз. Повезли меня на улицу, где сохранился родильный дом, в котором я была рождена. И выдали мне специальную метрику, представляете? И увидела я этот дом – бревенчатый, в те военные годы, наверное, без отопления, без горячей воды. А мне матушка всегда казалась такой бабыней-королевой. Такой дворянкой-аристократкой. Она себя так ощущала и так всегда в жизни себя вела и так жила. Я как вдруг представила, что она в таких условиях, тем более война, папа на фронте, а ее приютили и поселили на какую-то кухню. Вот на этой кухне она, пузатая, с сыном, неизвестно что ели, по каким-то карточкам.

Как она рассказывала позже, делала драники из картофельных очисток. На каком-то машинном масле. И вот там, в тех условиях, она меня родила. Обменивала свои туалеты, которые у нее были замечательные, и, слава Богу, что она успела захватить тюк со всей своей одеждой и этим потом расплачивалась на рынке. И кровь сдавала для того, чтобы что-то купить, чтобы меня и брата прокормить.

У меня слезы из глаз, и сердце зашло от благодарности, от обиды, что сегодня совершенно другая жизнь, от обиды за то, что, наверное, я так мало ей отдала в ответ. От ка-

кой-то внутренней вины. И мне так захотелось все вернуть и все начать сначала. Но, увы, это невозможно. Если кто-то читает, и вы еще молоды. Если у вас есть мама. Послушайте меня, прошу вас, вы потом будете очень жалеть. Попробуйте не сердить ее. Не обижать ее. Попытайтесь побольше уделять ей внимания. Я рассказываю это и плачу. Со мной теперь нет мамы. Она могла бы сказать: «Ты остаешься ребенком, сколько бы тебе не было лет, только до той поры, пока у тебя есть мама». Потому что, когда ты ее потеряешь, в этот миг ты остаешься на земле сиротой. Нет папы, нет мамы, и ты невольно – абсолютно одинокий взрослый человек. Дети и внуки – это все другое. Ты не можешь сказать слово: «мама». И твое детство, беззащитное внутренне, уже не уверено в том, что ты можешь в любой момент снять трубку, позвонить, или написать, или прийти и уткнуться в плечо. Даже если ты этого не сделаешь, но ощущение, что ты это можешь, дает тебе невероятные крылья и силы и оставляет тебя еще в душе большим, может, иногда старым, одиноким и несчастным, как тебе кажется, а может, счастливым, сильным и независимым, но все равно ребенком.

Так вот, в этом Барнауле я замечательно выступила, получила картину в свой день рождения в подарок, которая у меня вот здесь висит, какого-то барнаульского художника. И приехала в Москву. И стала все это рассказывать своей мамушке. Она стала охать и ахать. Сказала, что почти ничего не помнит. И как-то так мы эту страницу Барнаула, которая

была очень короткая, перевернули. Единственное, что мне мама рассказала, это то, что как мы вообще оказались в Барнауле. Вернее, она, со мной в животе, но все равно я была! И как я вообще появилась, и как мама меня довезла до этого Барнаула из Москвы. По ее словам, в 41-м году немцы подошли очень близко к Москве. Папу срочно забрали на сборы в Кубинку, где он должен был, я не знаю, как сказать правильно, стажироваться, – и на фронт. А тут я должна рассказать, что было до...

Мама, будучи студенткой театрального института, при театре Таирова, теперь театр имени Пушкина, прямо на нашем Тверском бульваре, заканчивала, я не помню, какой курс, и играла дипломный спектакль, и вообще вся такая из себя красавица. А ее лучшей подругой была Лидия Николаевна Смирнова. Вы помните, народная артистка СССР. Ну, естественно, в нашем доме она называлась «наша Лидка Смирнова». Или Лида, или Лидочка – когда мама рассказывала совсем что-то смешное или ворчала на нее. Показывала она мне фотографии, где они хулиганили вместе студентами, как они ходили полонезом по всему Тверскому бульвару от нашего дома. Тверской бульвар, дом 12, до театра Таирова. Они собирались всей командой у мамы дома, пили кофе, а потом летели до института каким-нибудь танцем. Мама тогда была еще женой не моего папы, а предыдущего своего мужа, очень известного военачальника, Ивана Игнатьевича Толпежникова, и, естественно, у них была большая кварти-

ра, у них были боны, и мама могла на Кузнецком мосту покупать по этим бонам очень красивые туалеты, и когда Лидии предложили сниматься в фильме «Моя любовь», а поскольку она была достаточно скромная студентка, мама дала ей белую футболочку, в которой она снималась, и во всех самых знаменитых сценах и на фотографиях из «Моей любви» Лида в маминой футболке, в этой беленькой. Это мама мне все рассказывала уже позже, потому что меня еще не было. Ивана Игнатьевича в 39-м году в одночасье арестовали, как многих в те годы, вы это знаете. Две самые красивые комнаты с мебелью опечатали и забрали, маме оставили маленькую, девятиметровую, на нее и на старшего моего брата, ее сынишку. Это будет отдельный рассказ про моего брата, которого звали Рудольф. Рудик. Или, как вначале я его называла, Юдик. Так вот, мама была студенткой и перед самой войной, после ареста Ивана Игнатьевича, она не могла дальше учиться, ее отчислили, но все равно еще подвязалась и что-то такое еще делала в театре и выходила на сцену, мечтала закончить и все-таки получить диплом. Неожиданно она встретила моего папу, папа в нее влюбился, женился, принял Рудика, не побоялся, что она была практически женой или вдовой врага народа. Потому что любил ее безмерно. И был благороднейшим, честнейшим, порядочным и добрейшим человеком. Мой папочка, родной. Так вот, его послали в Кубинку. Мама решила его навестить. И поехала в эту Кубинку. Поскольку приехала она как жена, естественно,

его из казармы забрали, дали им землянку. И они остались в этой землянке. Проходит ночь. Утром папа уходит. И буквально через несколько минут возвращается белый, как стена. И говорит: «Катя! Катя! Никого нет!» Оказывается, всех «под ружье». Ночью немец подошел совсем близко. Всех под ружье, а про него забыли. Он говорит: «Да я ж теперь буду дезертиром. Господи, что делать?» Она выпрыгивает из землянки, бегут они по совершенно пустому лагерю, подбегают к столовой. Там начальник столовой, какая-то еще там женщина. Они говорят: «Ну-ка сюда, быстро, давайте, сейчас придут раненые, срочно, давайте к плите!» Кате, маме моей: «Давай немедленно что-то готовь. Ты умеешь?» Она говорит: «Конечно». И, спохватившись, начинает варить в огромных котлах какую-то еду. Папа откуда-то волочит мешки с крупой, какую-то картошку. Они начинают быстро что-то готовить, потому что действительно через какое-то время подходят, подвозят раненых, уже гремит канонада, потом говорят: «Вам надо срочно отсюда эвакуироваться». Они их всех покормили, быстро стали грузить эту столовую в вагоны. «А как же у нас Рудик? Рудик на Тверском бульваре», – говорит мама. Ей дали машину. Она, как шальная, поехала в Москву. Собрала все, что там было, в какой-то тюк, который могла связать, вместе с Рудиком сели в полупорт, приехали. Их – в вагоны. И началась бомбежка. Папа притащил какой-то мешок. Мама говорит: «Что это такое?» Он отвечает: «Сахар кусковой. Это вам». И поезд поехал в Сибирь. Потом

с поезда папу сняли, и он пошел на фронт, на передовую. И вот с этим мешком спасительным мама ехала до Новосибирска, куда была эвакуирована киностудия «Мосфильм». Там было у нее много друзей и знакомых из Москвы, и Лидочка Смирнова тоже. Они там снимались. А мама в то время была уже беременна. Лида ей: «Ты с ума сошла! Давай начинать сниматься. Зачем тебе это нужно? Надо немедленно сделать аборт. Немедленно. Ты что? Война! Петю забрали. Неизвестно, что будет». И мама в Новосибирске пошла к какой-то знахарке и, как она мне потом рассказывала, пришла в какую-то избу, к какой-то бабке. Какая-то стоит лавка огромная. Какие-то тазы. И вот эта бабка ей говорит: «Ну-ка, давай ложись». И моя мама вроде бы хочет сказать «да», и уже почти было согласилась, но потом вдруг вскакивает и говорит: «Нет, я не буду». Испугалась. Лида ее потом ругала. Сниматься она не стала. Села на поезд и поехала с Рудиком дальше. А киностудия «Мосфильм» осталась в Новосибирске. Лида осталась в Новосибирске. Стала сниматься дальше. А мама поехала вперед. И доехала через много-много городов вот в этот самый Барнаул. И вот Рудик и мешок с этим сахаром... все так же следовали за ней. Однажды она попробовала поднять мешок. Ей показалось, что он стал как будто немного легче, но с виду такой же огромный. И она все время думала, что у нее это то самое НЗ, которое, когда она сможет меня родить, будет тем, что спасет всех. Я не помню весь этот рассказ, но помню, что однажды, когда она полез-

ла, чтобы достать сахар, там его не оказалось. Вместо сахара лежали какие-то тряпки.

Она как тигрица кинулась на моего братца, и стала кричать: «Ты что! Это ты?! Где сахар?!» Он сказал: «Мам, ну мам, ну не ругайся, мам, ну я ребятам раздал. Ну им так надо было. Так хотелось». Не знаю, дала ли она ему подзатыльник или нет, но я знаю стопроцентно, поскольку она была настолько сердечная и хлебосольная, что вся ее злость и все ее вопли кончились очень быстро. Потому что он – ее сын. Сахара не осталось. Но тем не менее, тем не менее мы все выжили и помогали людям. И этот закон жизни я усвоила с детства навсегда и для себя тоже. Потому что, конечно, у нас другое время, другая жизнь, но могу сказать точно: все равно я всегда стараюсь помогать людям. И если ты что-то отдаешь, тут же из-за поворота, из-за угла, помогают тебе. Конечно, это Бог, я понимаю, но помогает он через даже совсем и незнакомых людей, которые вдруг появляются в твоей жизни. Если ты даже не ждешь, или ждешь от своих родных, или каких-то близких или знакомых помощь, и не получаешь ее, вдруг встретится какой-то человек или вдруг возникнет какая-то необыкновенная ситуация, которая повернет твою судьбу, и помощь придет сверху. Через других людей и через другие руки. И это правило я каким-то образом получила по наследству от мамы, папы и своих близких. На всю дальнейшую жизнь.

Конечно, я не помню Барнаул, потому что мы оттуда сразу

уехали, потому что немцы отступили от столицы. Мы вернулись в Москву, и оттуда, поскольку папа еще воевал, поехали в Воронеж. К старшему брату мамы, который был очень известным в городе человеком. Депутатом. Председателем горкома или – более точно – горсовета. То есть практически первым человеком в Воронеже. И много лет он там занимал эту должность. Петр Антонович Мирошниченко. Более того, вот совсем недавно, в этом году, звонит мне корреспондент воронежской газеты, просит дать интервью и присылает мне всю информацию о Петре Антоновиче, потому что я попросила: «Если можно, соберите про него материал, вроде мой родной дядя. Я его помню. Но я совсем мало о нем спрашивала у мамы. Мало о нем знала». И вдруг мне присылают вырезки из газет, где вся информация о нем. Безумно интересная судьба. Он был удивительно героический человек, который, когда немцы подходили к Воронежу и началась бомбежка, должен был переправить абсолютно всех: все заводы, весь партийный аппарат на ту сторону реки. И, что поразительно, пишут в одной из газет, что он всех отсылал, всех переправлял на пароме, на баржах, на чем угодно на другую сторону. Всех! Через мост на машинах. И на последней машине поехал сам. Об этом писали все газеты. Потом его наградили орденами и медалями, потому что он практически всех эвакуировал, переправился сам, а потом мост взорвали. И немцы остались на той стороне. Он был героем. Очень интересным человеком. Так вот он пригласил маму со мной и

с братом приехать к ним.

Какой-то очень красивый дом или квартира, я не помню. Помню только огромную комнату. Светлую-светлую. Стоит большая-большая кровать. Вся в белых пуховых подушках. И, как в старинные времена, кружева на кровати внизу. Все белое, пушистое, как мне казалось, мягкое, очень красивое, и меня маленькой во все это опустили. Помыли и опустили, и укрыли. Мне было хорошо-хорошо. Была такая стеклянная дверь, и оттуда шел свет, и они там сидели в столовой – или пили чай, или разговаривали. И я блаженно заснула, а проснулась оттого, что лежу вся мокрая. Боже мой! Как сейчас помню. Я открыла глаза и поняла, что я просто описалась. И мне стало так стыдно и страшно, что я заплакала навзрыд, стала звать маму от стыда, оттого, что я, как мне казалось, взрослая девочка, и я себе такого никогда не позволяла, и тут в гостях, в этой потрясающей пуховой кровати... Прибежала мама. Она даже не успела поругаться – выбежала тетя Таня, жена дяди Пети. Сказала: «Ничего-ничего-ничего! Не обращай внимания. Это все ерунда-ерунда». Мама только хотела мне сказать: «Что ты наделала!» Но даже это она не успела сделать. Как-то этот инцидент был сглажен всеми, но на меня произвел сильнейшее впечатление. По сегодняшний день я помню чувство стыда. Как я могла такое совершить? Наверное, совсем еще была маленькая. А потом мы почему-то оказались под Воронежем, в селе под названием Хреновое. Ударение на «вое». Совсем недавно я давала

интервью и написала «село Хреновое». Ну, естественно, не поставили ударение, а потом кто-то прочитал и сказал: «Ну ты даешь! Что же за село такое? Что ты так неприлично выражаешься. Вроде на тебя непохоже». Я говорю: «Да нет, почему?» Потом только поняла, вы уж поверьте мне, сто лет в обед и все равно плохо иногда соображаю. Но так оно и называется – Хреновое. Там рядом есть конный завод.

Наверное, это было уже после войны, потому что папа был с нами, он вернулся с фронта инвалидом, с туберкулезом легких. Мы все были напуганы и жили под дамокловым мечом из-за этой болезни, поскольку в Москве комната девять метров, у папы открытая форма, вечный кашель, отдельное полотенце, отдельные чашка, ложка, вилка, но все равно и мама переболела, и Рудик, а позже переболела все-таки и я. Но в тот период брат мамы предложил поехать именно в это село Хреновое. Папе – на кумыс, да и нам всем вроде как подышать и отъестся немножко, отпиться молочком. Мы поехали. У нас был маленький домик, была коза, потом какие-то куры. Потом был... Но это уже отдельный рассказ, под названием «Пинька». Естественно, огромная собака была, на которой я всегда ездила верхом, и лежала, распластавши руки, прямо на ней, как будто она моя подушка. Мы все обожали животных: и я, и мой брат, и мама с папой.

Папа ездил работать на конный завод, Рудька носился там на лошадях и наслаждался. Папа пил кумыс, я не знаю, пила ли я, но то, что я пила козье молоко – это точно. По сей день

я его очень люблю. Наверное, все идет из детства.

Так вот, там, в этом Хреновом, со мной произошло несколько удивительных вещей. На всю жизнь осталось в памяти вот что: утро, папа идет на работу, я выхожу из домика, где мы жили, и провожаю его за калитку. А там был круг такой, как маленькая площадочка, и вот до этого места я должна была его проводить. Иду себе, иду, естественно, с папой за ручку, дальше он меня целует и говорит: «Я пошел. Возвращайся домой». И тут я вижу, что вокруг ходит очень высокий, очень красивый красного цвета петух и косит на меня глазом. Я была маленькая, мне казалось, что он практически моего роста. Он такой: «ко-ко-ко» – и кругами вокруг меня. Папа уходит. Я чуть-чуть трушу, но вида не подаю. И пытаюсь идти назад. Вероятно, мою трусость петух почувствовал. Вдруг со всего маху он взлетел и сел мне на голову. Размахивает крыльями, а своим когтем продирает мне кожу под глазом... У меня по сегодняшний день под левым глазом шрам.

Кровь льется. Я поднимаю руку, чтобы его скинуть. Он царапает мне палец. И на пальце моем указательном шрам. Я визжу. Он слетает. Папа бежит обратно. Крик-шум-гам. Меня в охапку. Выбегает мама. И вот дальше меня куда-то несут, бегут в какую-то поликлинику. Слава Богу, что глаз не выколол. Слава Богу, что только шпорой зацепил. Но тем не менее шрам так и остался на всю жизнь. После этого говорили: «Ну, Мирошниченко клюнул петух».

Потом, правда, в знак извинения соседи зарезали этого

петуха и передали нам. Но никто из нас его есть не мог. Так и осталась на всю жизнь память, что не надо никогда бояться животных. Потому что они, наверное, это чувствуют. Позже я в этом много раз убеждалась.

Что еще из Хренового? Замечательные воспоминания. Однажды мы пришли из леса, я и мама. Ягоды, что ли, собирали. Входим, и вдруг я слышу – в нашей печке что-то шуршит. Шуршит-шуршит. Мама открывает. О Боже! Оттуда выползает ни больше ни меньше – птица. И не просто птица, а большая птица. И мама говорит, что это орел. Только одно крыло у него сломано. Конечно, прибегает Рудик. Мама спрашивает: «Что это?» Он говорит: «Ну, мам, мы ходили по лесу, подобрали. Там убили орла, а это маленький птенец у него остался. Видишь, он со сломанным крылом, упал из гнезда, что нам делать? Я его забрал и принес. Давай его выхаживать. А, мам?» Вот так поселился у нас маленький орленок. Его прозвали Пинька. Потому что сначала мама, естественно, ему завязала крыло, он взлетать не мог. Мы его стали кормить. Он вместе с нашими курами ходил, клевал какое-то там зерно. И всегда на горе, где птицы ходили, вместе со всеми ходил этот маленький орленочек. Ходил себе, ходил, потом подрос, крыло у него выровнялось. И он однажды взлетел, и пролетел целый круг. Все думали, что он улетел. Но не тут-то было. Он полетал-полетал, и обратно с каким-то совершенно потрясающим таким «пинь-пинь-пинь-пинь» криком стал планировать и приземлился на эту

гору, где все другие птицы. Они сначала испугались, но потом к этому привыкли, потому что он и дальше так летал, а потом обратно возвращался. И еще при этом, простите, он странным образом ходил в туалет – как-то так выстреливал! И если кто-то попадался сзади, то все это летело на него, будь это собака или курица, кто-то из нас. Поэтому мы уже все знали и уходили в другую сторону. Но это он делал от восторга и от радости бытия.

И так мы безумно дружно жили. И во всем селе Хреновое знали, что здесь живут некие Катя, Петя, двое детей и орел. Он был достопримечательностью всего села. Пинька улетал и к вечеру всегда возвращался.

Там недалеко был санаторий, и в этом санатории среди отдыхающих были охотники. И вот однажды вышли они с ружьем и видят: летит низко, с огромными крыльями красавец орел, спускается вниз. Они подумали, что вот, наконец, добыча. Мама стоит внизу, ждет его. Он «пинь-пинь», выстрел, и этот «пинь-пинь» на эту нашу горку падает и умирает. С той поры я ненавижу охотников и вообще охоту. Потому что для меня это всегда убийство. И сколько бы мне ни рассказывали, что это нужно, что необходимо кого-то отстреливать, а кому-то нужно просто потешить свой азарт, свой темперамент, я этого не люблю. Они мне все не нравятся. Ужасно было грустно. И хоронили его всем селом. Удивительно, вот люди в чем-то бывают жестоки, а в чем-то удивительно сентиментальны. Уж, казалось бы, деревенские люди, режут

скотину, достаточно просто ко всему живому относятся. Но вот к смерти Пиньки отнеслись совершенно по-другому. Потому что это был прирученный дикий зверь, хищник, который на добро людское отвечал добром. Он не рвал и не воровал кур, никого не убивал, потому что его здесь вырастили. И странно, он с такой нежностью относился к людям, его все гладили, он был ручной, никого даже не цапнул, не царапнул. Он был свой. Пинька и Пинька. И так вдруг незаслуженно и неожиданно был убит. Грустно.

И еще была очень странная история. У нас была коза, которую мама моя доила. Представляете, артистка, с холеными руками, москвичка. Ее старшая сестра, тетя Ася, закончила пансион благородных девиц. Я по сегодняшний день помню, как она, уже позже, приходила к нам на Тверской бульвар в шляпке с вуалеточкой и в черных сетчатых перчаточках (я теперь в таких играю Аркадину в «Чайке»). И вот она приходила в эту нашу маленькую комнатку на бульваре. Мама моя, естественно, давала белые салфетки, накрахмаленные. Никто не умеет крахмалить салфетки, как это делала мама. Это была какая-то закваска, с начала прошлого века. Белоснежные, выбеленные салфетки, плотные такие, твердые, отглаженные так, что они стояли всегда. Это было очень красиво. И мама всегда тетю Асю принимала с этими салфеточками. Тетя Ася была верхом интеллигентности, скромности и благородства, и мамулька моя из этой же породы. И она доила козу! Чтобы у нас было козье молоко. Вот однажды

тащит мама эту козу, а та упирается. Ну упирается, ну ни под каким видом не идет, как будто нервничает и боится. Рудька ее силой, папа силой, не понимали, что такое? А я вижу, как по углу дома ползет нечто черное, скользкое, страшное, на мой взгляд, и извивается. Естественно, вопль, я кричу на все село. Все сбегаются. Боже мой, я-то думала, что это змея, но мне сказали, что это уж, а может, действительно была змея. Короче, эта змея (или этот уж), вероятно, прирастилась к нашей козе и пила у нее молоко. Вот ужас. Что испытывала наша коза! Поэтому ее и загнать-то не могли. Что сделали с этим ужом, я не знаю – меня увели, но у нашей бедной козы пропало молоко, и какое-то долгое время его просто не было от ужаса. Я с детства панически боюсь и не люблю никаких змей, ужей, всего того, что ползет. До такой степени, что если я по телевизору вижу змею, у меня просто мурашки по телу, холодок, и я испытываю какое-то внутреннее содрогание. Вот какой урок, дорогие мои читатели.

Все идет из детства. Все наши страхи, все привычки, вообще, наверное, характер рождается с нами. Как-то кристаллизуется с детства, потому что все, что я вижу в себе сегодня, скажем, любовь к животным, любовь к природе, но достаточно, знаете, такая отдаленная – все-таки я совершенно не сельский, а городской человек. Поэтому для меня природа – это чудо. Я на нее смотрю, как на чудо. Мне все это очень нравится, но я достаточно далека от нее. Ко всему живому, всему, что существует, огромный интерес и огромная

жалость и нежность. А к людям – невероятная открытость, симпатия и доверие. Они мне все очень нравятся, потому что в жизни мне попадались, как правило, очень хорошие люди. Я даже не могу вспомнить плохих. Искренне вам говорю – огромное количество прекрасных людей, не знаю, почему, но такое у меня восприятие было и осталось на всю жизнь. И мне очень хочется этим с вами поделиться. Потому что каждый раз, открывая для себя нового человека, пришедшего на встречу с тобой, на работу с тобой, просто в знакомстве с тобой, я сразу же вижу только то хорошее, чем человек мне открывается. А все остальное как-то я стараюсь или не замечать, или мгновенно прощаю. Потому что я ценю человека за все то хорошее, что в нем есть.

Давайте вернемся к началу моего рассказа. XXI век. Лето. 2008 год. 30-й Международный кинофестиваль. Тут же вспоминается, что для *меня* вообще этот кинофестиваль. Я была много раз на нем. Просто как гость, как член делегации. Ну это было и престижно и красиво. Очень интересно. Особенно первые кинофестивали, когда приезжало очень много иностранных звезд, режиссуры, прессы, был какой-то оазис международной культуры. Шум-гам вокруг, все закрыто, запрещено, проезда нет, прохода нет, специальные пропуска, билеты, если ты член делегации. И все это было в концертном зале «Россия», на Красной площади. Сегодня вот едешь по центру, «России» уже нет, только заборы и пустая земля, которая помнит и «Аллею звезд», которую мы наблюда-

ли каждый раз год за годом, когда какую-то «закладывали» звезду. Сколько вокруг этого было волнений. Съемок, песен.

А теперь и фестиваль проходит не там. Сейчас красная дорожка к кинотеатру «Пушкинский». А я сразу вспоминаю 8-й кинофестиваль, который проходил в 73-м году, и в конкурсной программе участвовал фильм «Это сладкое слово Свобода», где у меня главная женская роль Марии. Две серии. Режиссер Витаутас Жалакявичюс. И знаете, это совершенно другой фестиваль. Для меня. Потому что там не просто интерес к советскому кино, а конкретно ко мне. Потому что у меня, без остановки, фото-, как сейчас модно говорить, сессии, пресс-конференции, интервью, съемки, обложек тьма во всех журналах разных стран. Что-то у меня сохранилось, что-то истлело, потому что прошло очень много лет. Где-то в подвале валяется, как макулатура, вся эта память прошлых лет.

И вот наконец завершение. Закрытие кинофестиваля, и вручают первый приз фильму «Это сладкое слово Свобода». Естественно, выходит вся съемочная группа во главе с Жалакявичюсом: я, Адомайтис, Будрайтис, Родион Нахапетов. Это было невероятно торжественно. К этому вечеру я сшила себе новый туалет. В те годы найти что-то было очень трудно. Я, естественно, одевалась в то время у Славы Зайцева. У меня было очень много от него туалетов. Поскольку фигура позволяла, я просто брала у него модели. Конечно, что-то он давал мне напрокат, а что-то я покупала. По сегодняшним

меркам – это низкая цена, но по тем временам – это было достаточно дорого, но очень красиво. А вот к тому фестивалю мне хотелось что-то такое совсем оригинальное.

Из одного журнала просто «слизала» фасон, нашла один отрез потрясающего бордового бархата, кажется, я привезла из-за границы, и к нему потрясающую такую тесьму – прямо золото с вишней, вышитую ленту, очень небольшой кусок, фактически она была на шее – хомутом, а дальше углом, «молния» сзади. Спина открыта. Очень красиво. Только закончились съемки фильма «Это сладкое слово Свобода», поэтому волосы у меня в то время были черные, длинные. Вообще какая-то была совершенно другая.

Прошли годы. Сегодня, когда я иду на этот фестиваль, конечно, я вспоминаю тот, где мне вручали первый приз. Но в то же время существуют нежность и радость от того, что этот фестиваль все еще есть, пусть даже теперь он совсем другой. Потому что в этом я вижу продолжение.

Сегодняшний день – это XXI век. 2008 год. Снимали обо мне фильм. Вроде бы какие-то юбилейные даты. Всем интересно прошлое. И я пробую из прошлого выудить все то, что вспоминается сейчас.

На банкете сегодняшнего фестиваля, в первый день открытия, я вижу Леонида Каневского и сажусь за один столик с ним и его супругой. Я задаю наивный вопрос: «Ленечка, а ты там еще живешь, в Израиле, или здесь?» Он говорит: «Я давно здесь. Я бываю там и тут. Уже много снимаю здесь.

Практически на две страны». А жена говорит: «А я вас видела, мы с вами знакомы, мы виделись с вами в Тель-Авиве». Я говорю: «Конечно, помню. Встречались. В каком-то магазинчике. На центральной улице». Естественно, тут же вспоминаю, почему я там была, что я там делала. Конечно, воспоминания об Израиле связаны с моим бывшим гражданским мужем Владимиром и детской дружбой с Виктошей Михоэлс.

Я стараюсь не рассказывать про свою личную жизнь, потому что все эксплуатируют то, что кажется им интересным, а в то же время все то, что касается тебя лично, твоей любви, твоих драм, должно все-таки оставаться между двумя людьми, которые встретились, полюбили и почему-то расстались. А вот почему, это уже их вопрос, а не предмет для обсуждения, как мне кажется, многомиллионной аудитории. Поэтому я всегда ухожу от этих вопросов журналистов и стараюсь как можно меньше давать информации. Но есть вещи, которые уже вне взаимоотношений, поэтому могу сказать: Володя уехал жить в Израиль. Потому что ему это было очень важно и нужно, многое не устраивало его здесь не с политической или общественной точки зрения, а в основном только из-за личной какой-то внутренней неустроенности и желания самосовершенствоваться и стать кем-то лучшим, чем он мог быть здесь.

Я несколько раз туда летала, просто в гости, как туристка, один раз даже с концертами, ну, как-то морально его поддер-

жать и посмотреть, что там вокруг.

И вот ведь удивительно, как все взаимосвязано. Почему я все сейчас вспоминаю? Только потому, что в детстве на Тверском бульваре в маленький дворик-каре выходило окно нашей квартиры. А слева было окно квартиры, где жили замечательные, уникальные люди по фамилии Михоэлс. Он был совершенно замечательный актер, и его родные находились в этой квартире. Две сестры – Наташа и Нина. И дочка Наташи – Виктоша, которая всегда наблюдала из окошка, как я играю в «классики», которые я рисовала мелом, и прыгала одна во дворе. Мне было позволено, а она не выходила. Ей запрещали выходить во двор. Тогда я не знала, почему. Только потом, уже встретившись с ней в Израиле, узнала. Так вот, Виктоша сидела у окна, иногда его открывала, и мы переговаривались. Так и длилась наша дружба детская.

Наши судьбы разошлись, я прожила на Тверском бульваре до 1957 года, потом заболела туберкулезом, меня послали лечиться в санаторий «Лосиноостровский». И там я семь месяцев лежала, лечилась и выздоровела, но уже не вернулась на Тверской бульвар – нам дали новую квартиру на Ленинском проспекте, и я заканчивала 7-й, 8-й и 9-й классы уже там.

Позже, когда я уже выросла и у меня была уже своя взрослая жизнь, я где-то услышала, что Михоэлсы уехали в Израиль. И однажды, прилетев в Тель-Авив, я решила узнать, где они. Можно ли их разыскать? Страна маленькая, город

небольшой. А фамилия знаменитая. Мне тут же дали телефон. Я позвонила, и как будто мы не расставались, знаете. Я сказала: «Это Ира Мирошниченко». – «Ой, Ириш, привет, ты где, приходи к нам. Заезжай к нам». И все.

Вот ведь московская традиция. Вот что такое Москва того времени, послевоенного. Вот что такое дворы того времени. Тогда все жили одной семьей. Вне зависимости от национальности, социальных слоев, от профессий. Например, под нами жил дядя Ваня, дворник-татарин, который половину букв не выговаривал. Но я всю жизнь помню, как он выходил рано утром, надевал белые нарукавники, огромный фартук, какую-то бляху и поливал двор и тротуар, а мы все вокруг бегали: «Дядя Ваня, дядя Ваня, полей нас!» И он нас всех обливал, мы в школу бежали радостные, все было чисто вымыто, красиво, и дядя Ваня такой добрый.

Мама пекла пироги, и первую целую кулебяку обязательно делила на куски. Кусок шел, естественно, к Михоэлсам, вернее, Нине с Виктошей, наверх – Наташе. Над нами жил совершенно потрясающий доктор Левин, и ему, и дяде Ване вниз, в подвал. Вот это все раздавалось, разносилось. Плюшки, пироги пеклись, и на весь маленький дворик распространялся аромат. И все знали, что Катя печет. На следующей неделе пекли в другой квартире. И точно так же раздавали. Все это было естественно. У кого-то беда, кто-то плачет, все знают, все слышат, все понимают, почему.

Скажем, вернулась из ссылки вдова актера Зускина, ко-

торый жил тоже наверху. Из театра Михоэлса, которого тогда убили. И мы видели, как они возвращались. Я как сейчас помню, мама говорит: «Ой, Зускина вернулась с дочкой». Дочку звали Аллочка, и она шла в такой беретке с золотыми длинными косами. И лицо у нее было очень красивое, белое, чистое. И мама такая же. Худенькие, измученные. Они входили во двор, а жильцы из всех окон вылезли. Все их встречали. И какая-то нота тревоги и радости, и в то же время какой-то беды, вдруг повисла. Хотя время было уже другое. И строй другой. И вообще все другое. Они вернулись из прошлого. И все их знали.

А муж Наташи Михоэлс, композитор Вайнберг, который жил на пятом этаже над нами, сочинял какую-то фантастическую музыку. Все говорили, что он войдет в историю, потому что пишет какую-то красивую симфонию. И действительно, ее премьеры были во всех залах консерватории. Но тогда мне казалось, что это какой-то ужас. Грохот. Непонятное нечто, которое громыало на весь двор. Но все молчали, потому что понимали, что Вайнберг пишет уникальную музыку.

После того телефонного разговора в Тель-Авиве я жила несколько дней у них. В маленькой чудной двухкомнатной квартире Нины, и такая же двухкомнатная квартира у Наташи. Они рядом жили. У них был потрясающий серый кот. А Виктошка модная такая вся, вечно занята – журналистка, работающая в центральной газете, очень известная. И сей-

час, я думаю, все такая же, журналистка, известная в тель-авивской прессе. И конечно, гордо носящая фамилию Михоэлс. Как национальное достояние этой страны. А когда-то она жила в нашей Москве, на Тверском бульваре.

Они меня тогда очень тепло принимали! Вот это детство, это московская закалка, это московская элитарная интеллигенция, и хлебосольная, сердечная, очень дружелюбная атмосфера, которая могла быть только в то время в Москве. Потом она переселилась к ним туда, в Израиль. Это было безумно приятно. Хотя мы не виделись столько лет. А потом опять нас жизнь развела.

Все пройдет. Пройдет и это. Это действительно так. У нас уже совершенно разная жизнь, и она, может, по-своему для каждого из нас счастливая, но был общий период в той стране.

Но, конечно, с Израилем связано незабываемое воспоминание о внутреннем потрясении, которое я испытала, когда оказалась в Иерусалиме, у Стены Плача. Никто меня там не узнавал, я закуталась платочком, и в щелочку, где были тысячи записок, втыкала и свою записочку с просьбой к Нему. А чуть позже я вошла наконец в тот самый храм и прикоснулась к той самой подлинной истории и истокам нашей религии, Гробу Господню. Но перед этим, пока меня везли к этому храму, мы ехали с делегацией и с экскурсоводом мимо другого храма. Он уже закрывался на перерыв, но я почему-то спросила: «Нельзя ли войти? Что это за храм?» —

«Да там уже сейчас перерыв, он уже закрывается. Ну давайте попробуем». И мы подошли. О Боже! Это храм Марии Магдалины. И я развела руки и сказала: «Мария, я к тебе пришла, актриса Ирина Мирошниченко, которая сыграла тебя в фильме Тарковского “Андрей Рублев”. Актриса, которая ничего не знала про тебя».

И только Тарковский, утвердив меня на эту роль, гуляя со мной по заснеженному Владимиру (мы шли вдоль реки по снежной тропинке, которую нам расчистили для завтрашних съемок – мы должны были идти крестным ходом на эту гору, на эту Голгофу зимнюю), рассказывал, как он видит эту сцену, как он будет ее снимать и что там, и кто такая Мария Магдалина. Он рассказывал мне, закончившей школу-студию МХАТ, молодой начинающей актрисе, абсолютно ничего не знающей про нашу религию, потому что нигде это нельзя было прочесть, Библия не продавалась. Я только знала из рассказов мамы, что есть Бог, что есть Иисус Христос, что есть Мать Мария. Наверное, я слышала, что существовала некая вторая Мария. Но кто она? Что она? Ее судьбу, ее историю я не знала. Это все рассказал мне Тарковский. Более того, он снял кинопробу, фотопробу, на меня надели парик с длинными волосами, до полу практически. И я в этом парике, в этих волосах плакала трое суток, проливая слезы у ног Христа и вообще видела все это Распятие.

Это очень красиво снималось. Очень эмоционально, и мне была очень дорога роль. Вот, представьте себе, что че-

рез столько лет я оказалась в храме в ее честь. Я села на ступеньки, не могла войти. И сердце колотилось. Как интересно, как все в жизни переплетено. Вот уж никогда не думала, что я, девчонкой сыгравшая этот исторический, абсолютно какой-то чужеродный для меня персонаж, сделанный на экране из моего тела, из моей плоти, из моих глаз, из моего лица и из моих эмоций, из моих слез, из моих страданий, которые были совершенно в другом веке, в другом году, войду в этот храм, и с огромной нежностью, как к чему-то очень близкому и родному, подойду к алтарю. Поэтому для меня эта страна вся сплетена из слез, из эмоций, из ощущений и счастья, открытия для себя религиозных реликвий, историй и прикосновений к ним. Из каких-то моих личных переживаний, страданий и потери близкого человека, из знакомства и заново открытия для себя друзей детства, и чего-то родного и близкого, идущего с московской улицы, с Тверского бульвара, от московской культуры, от московской интеллигенции. Из огромного количества зрителей и почитателей, которые меня узнавали, брали автографы, спрашивали про Москву, слушали рассказы, стихи и песни в моем исполнении. Приходили на мои концерты. Это было невероятно и интересно, и как-то так все переплетено, это яркая страница, которая осталась в моем сердце и моей памяти.

А сейчас хочу рассказать о Тарковском. Представьте, Школа-студия МХАТ. Я – студентка этой школы. Уже живу не с мамой. Уже вышла замуж. Мой муж – писатель Михаил

Шатров. Живем на «Аэропорте». Не снимаюсь нигде – уже имела опыт и получила по затылку как следует, потому что на первом курсе я рискнула и снялась в маленьком эпизоде в фильме «Я шагаю по Москве». Сыграла старшую сестру Никиты Михалкова. Позже на том же «Аэропорте» я шла как-то по своей улице домой. Навстречу мне – Андрей Кончаловский. Посмотрел, хитро улыбнулся и сказал: «Я вас знаю, вы моего брата в фильме назвали “идиот”. Правильно сделали».

А через какое-то время он меня пригласил на пробы фильма «Дядя Ваня». И началась для меня совершенно другая жизнь. В творчестве, в искусстве, в кино. И родился уникальный совершенно фильм, и о нем я буду говорить особенно, потому что это одна из самых лучших, на мой взгляд, работ в кино (не только моих, а всей команды) и, прежде всего, одна из лучших работ уникального режиссера Андрея Кончаловского. По пьесе еще более уникального Антона Павловича Чехова, который написал великое произведение «Дядя Ваня».

Так вот, в школе-студии, в конце первого курса, когда наконец фильм «Я шагаю по Москве» вышел на экраны, я однажды прихожу, и меня вызывают в деканат. Оказывается, я нарушила правила школы-студии, разве я не знала, что нельзя? Отвечаю: «Знала». – «А почему все-таки?» – «А потому, что хотела». – «А вот теперь значит, отчислена». И все. Я рыдаю. Прихожу в нашу аудиторию, все мои сокурсники спрашивают: «Ириш, ты чего?» А я плачу навзрыд. Все ме-

ня понимали. Но тут же собрали собрание нашего курса, на котором меня клеймили позором. Я понимала, они хотели сказать: «Держись, мы с тобой». Но при этом говорили: «Это безобразие, это недопустимо, строгий выговор, строгий, но не отчислять. Кто “за”?» И все поднимают одновременно руки, чтоб только не отчислить, но суперстрогий выговор с занесением и без занесения, взгреть по полной программе, но только оставить. Меня оставили. По затылку я получила. Плакала, говорила, что больше никогда не буду. И действительно, видит бог, ходили по коридорам за мной многие. Делалось много фотопроб и много предложений. Но я говорила: «Нет, только после окончания. Нет-нет, после окончания».

Когда я еще была студенткой первого курса, мы жили достаточно бедно, но мама давала мне рубль на то, чтобы днем поесть. Я уезжала очень рано, занятия шли с девяти. Перерыв был с двенадцати до часу, потом лекции, потом опять с шести до семи перерыв, а потом с семи до десяти опять занятия профессиональные. Репетировали, что-нибудь делали, вне плана. Я очень много работала и, конечно, безумно уставала. Вот мне мама и давала рубль.

По утрам я бежала, опаздывая, на автобус, как сейчас помню, на Университетском проспекте, углу Ленинского, но в него забивалось столько народу, что я не могла воткнуться в этот кошмар и голосовала. Останавливалось такси, которое везло меня до центра, я, жутко нервничая, потому что у меня

в кармане рубль, а такси 90 копеек, говорила: «Стоп!» Получала эти 10 копеек сдачи, выпрыгивала, но, как правило, это было около Манежной, очень близко от школы-студии. И оставались 10 копеек.

На эти 10 копеек мы вместе с Валюшкой Малявиной забегали рядом в пельменную, съедали на 5 копеек пельменей, а на 5 копеек или кофе, или какао. Это на весь день. И было даже очень ничего себе. Как-то хватало.

А тогда, когда я все-таки не ехала на такси, у меня был целый рубль. На этот рубль я очень любила ходить напротив в кафе «Артистик», там можно было красиво пообедать, съесть бульон или какую-нибудь курочку и что-нибудь вкусненькое. А в конце давали замечательно сваренный кофе. Я кайфовала и блаженно себя чувствовала актрисой, будущей пижонкой Ириной Мирошниченко.

Но это я себе позволяла пижонить, когда была на иждивении у мамы. Когда же я перешла на иждивение супруга, писателя Шатрова, и у меня было уже чуть-чуть побольше чем рубль, то позволяла себе невероятную роскошь. Я шла в кафе «Националь», могла себе заказать что-нибудь, а больше всего на свете я любила заказывать кофе и какой-нибудь сумасшедший десерт или пирожное, которое в «Национале» готовилось потрясающе. Почему «Националь»? А потому что это центр Москвы, потому что за окном Кремль, потому что мама мне рассказывала, как они студентами очень любили ходить в «Националь» и «Метрополь». И именно там

тратили все свои заработанные после «елок» в Колонном зале деньги, потому что там самая вкусная еда, самая цивилизованная, самая красивая, и потрясающий старинный интерьер.

И вот однажды, придя в перерыве между лекциями туда на час, я села... Пью себе кофе, ем пирожное, надо сказать, что кафе достаточно пустое, оно было очень дорогое, очень элитное, там мало народу. И за одним столиком сидит молодой человек и, не отрывая глаз, на меня смотрит. Я думаю – что это он на меня уставился? И делаю вид, что я вообще его не замечаю, смотрю в будущее и в окошко. Выпила кофе, съела пирожное, расплатилась с официантом. Он смотрит. Я, фыркнув, гордо встала и ушла. На следующее утро звонок. «Ирина, пожалуйста, приезжайте на “Мосфильм”, вас хочет увидеть режиссер Андрей Тарковский. Он начинает снимать фильм “Андрей Рублев”».

Приезжаю на «Мосфильм», захожу в кабинет и вижу того молодого человека. Он говорит: «Вы меня узнаете?» Я говорю: «Конечно, вы на меня вчера смотрели». Он говорит: «Да, и я увидел, что у вас, как мне кажется, очень иконописное лицо. Давайте попробуем?» Я говорю: «Давайте». Меня тут же отвели в гримерную, сделали грим, надели парик, чуть-чуть рассказали, кто и какая я должна быть, получились фотографии. После этого меня утвердили на роль Марии Магдалины.

Андрея Тарковского я снова увидела только на съемочной площадке, приехав в город Владимир. Уже практически за-

кончив институт. Это была зима. Последняя зима нашего выпуска. Я просила разрешения на съемку. Мне сказали: «Да, уже можно». Мы уже готовили дипломный спектакль. И во Владимир я приехала на два-три дня.

Вот уж поистине ощущение творчества начиналось со встречи: то, как меня встречали, как я подъехала к гостинице, где уже ждал ассистент, то, как меня подняли в номер. Вторым режиссером была Лариса, жена Тарковского. Очень красивая, очень интересная женщина, которая была его другом, помощником, соратником. Она стала мне рассказывать, какой я должна быть, сказала, что у нас будет обязательно встреча с Андреем, но что сейчас он занят, что фильм снимает великий Юсов. Но я с ним была уже знакома по фильму «Я шагаю по Москве». Поэтому для меня это уже был родной оператор.

Наконец я встретилась и с Андреем. Он был уже совершенно не тем, который сидел в кафе «Националь». И не тем, который был в кабинете. Нервный, издерганный, очень серьезный, ставший старше, мне кажется, лет на десять. И какой-то другой. Сказал: «Давайте я вам покажу. Вы когда-нибудь здесь были или нет?» – «Никогда». – «Видели храмы?» И тут он меня стал «окупать» в атмосферу нашей старой Руси, нашей религии и нашей истории. «Андрей Рублев» – это практически приобретение наших исторических корней, которые аллегорически и чисто эмоционально каким-то образом переплетены с мучениками. Мученичество Андрея

Рублева, наверное, наложенное на внутренние муки Андрея Тарковского, который удивительно трагично и нервно воспринимал мир через свою реальность, через свою призму. Он показывал нам этого великого художника, который писал иконы, и абсолютно проникал в суть происходящего на иконе. И каким-то образом сам восходил до Иисуса Христа, до его распятия, до его мук.

Это все настолько слито с русской нашей зимой, которая, естественно, никогда не могла быть на земле, откуда Иисус. Но было вот это что-то аллегорическо-мученическо-страстно-сильное, эмоционально приподнятое и заряженное всей группой на какое-то высокое творение. Пожалуй, я редко встречала такое за всю жизнь.

И я прониклась тем, чем особенно был заряжен сам Тарковский. Вот если говорить о его уникальности, о его величии, о его вкладе в историю кинематографа, наверное, суть именно в этом. У него какая-то невероятная глубина человеческая, которой он заражал всех вокруг.

Три дня съемок Марии Магдалины. Позже, когда уже у меня был приз за фильм «Это сладкое слово Свобода», приз за фильм «Дядя Ваня», серебряная раковина, приз за фильм «Пришел солдат с фронта», где у меня главная роль (правда, мне не дали Государственную премию, но тем не менее фильм был награжден), после всех этих наград, признания, массы ролей в театре, звонок: «Ирина, в Бельгии будет проходить Неделя советского фильма, куда можешь поехать ты с

фильмами “Дядя Ваня” и “Андрей Рублев”. На неделю. Согласна?» Я: «Ой! Как может быть “нет”? Конечно “да”, но мне нужно письмо в театр, ну, чтобы разрешили». Я, как охолтелая, приезжаю в Госкино, забираю это письмо, еду к нашему директору К. А. Ушакову, его все называли Паняишли, то есть «понимаешь ли» – такая у него была присказка. Он говорит: «Куда тебя отпускать? Куда за границу? Надо в театр, поняишли, работать. Нечего ездить по заграницам». Я говорю: «Ну, Константин Алексеевич, ну я вас очень прошу, это как можно скорее нужно решить...» Он мне «Иди-иди». И письмо мое – в стол.

После этого началась мука. Я бежала с шоколадкой, или с конфетами, или с какими-то духами к секретарше: «Я тебя умоляю, ну напости ему, он засунет вниз, потом протянет время, меня не успеют оформить, понимаешь, Бельгия – это ж уникальная страна, центр Европы, я еду, у меня две роли. Это же так интересно». – «Ира, все понятно, сейчас все сделаем». И тихо-тихо подсунула ему это письмо. И он подписал все-таки.

Наконец мы летим в Брюссель. Я, Андрей Тарковский и работник Совэкспортфильма. Тарковский совершенно другой. Показывает портрет сынишки, ему совсем мало лет тогда было, а Андрей – счастливый безмерно. Веселый невероятно. Чуть-чуть пьющий вместе с третьим членом делегации.

Нас принимала семья Гугиных, они остались на всю жизнь моими друзьями. Гугин был представителем Совэкспорт-

фильма в Брюсселе, у них был чудный двухэтажный маленький дом почти в центре. Жена Наташка, кареглазая, архитектор, умница, ну с таким вкусом! Боже мой, эта Неделя – это было нечто. Для меня это самая красивейшая страна, старинная, то, что мне безумно нравится.

В то время на «Дядю Ваню», и вообще на нашу Неделю, вся пресса об этом писала, стояла очередь за билетами, потому что все происходило в кинотеатре довольно небольшом.

Тогда в большой моде было движение «хиппи». Все ходят в джинсах, волосатые-патлатые. Я тоже нацепила джинсы, какую-то рубашку, волосы длинные. После премьеры фильма, которая проходила очень торжественно, я вышла в потрясающем туалете, а на следующий день нам устроили пресс-конференцию после окончания сеанса, и мне сказали, что можно одеться иначе. И вот там я была в джинсах, рубашке джинсовой, сумка через плечо – ну нормально, – европейский нормальный цивилизованный вид. А Тарковский ходил вечно в джинсах, модный, современный, острый. И наш коллега по делегации, Сережа, который знал французский язык, тоже соответствовал.

И вот мы выходим на сцену. Зал битком. И что меня тогда поразило – у нас таких кинотеатров не было – там было все покрыто коврами, чистота невозможная, мягкие кресла, ну, наверное, как сейчас. Но тогда это было для нас в диковинку. Это все-таки очень давние года. И в этих проходах, на коврах, сидят студенты, молодежь сидит, очень интелли-

гентная публика. Они пришли посмотреть классические интересные современные фильмы из Советского Союза и нас послушать.

И тут начинается пресс-конференция. Мне задают вопрос по-французски, Сережа переводит. И вдруг я начинаю отвечать в микрофон по-французски. Честно, для всех это был шок, а у меня, с одной стороны, взволнованность, потому что я вспоминала все свои знания и не хотела ударить в грязь лицом, а с другой – гордость, что я из Советской страны, что я вот так вот легко веду всю эту пресс-конференцию на их родном языке. Помню один вопрос, который совершенно сразил и привел в невероятный восторг: «Слушайте, вы вообще советская женщина?» Я говорю: «Да». – «А мы представляли вас по-другому. Перед вами приезжал фильм “Оптимистическая трагедия”, и мы думали, что вы сейчас приедете в кожанке, а где вообще ваш револьвер?» Я вот так встала, как в ковбойских фильмах, по попке ударила: «Вот он у меня!» – показала. В зале хохот, свист. «Вы работаете в НКВД или в ЧК?»

И всем было очень странно, что мы такие абсолютно не похожие в их понимании, не вписывающиеся в те рамки, о которых им, вероятно, писали и рассказывали. А уж Тарковский, вы сами понимаете, он был настолько интересен и настолько сам по себе. Человек мира. Он был абсолютно и европейец, и русский, и азиат – все вместе. С ним всем было безумно интересно. От него пресса не отставала.

А семья Гугиных принимала нас потрясающе. Помню, однажды утром Гугин звонит в номер и говорит: «Приезжайте к нам завтракать. Наташа заберет вас из гостиницы». Приезжаем к ним домой, а Валя только что приехал, он был где-то на переговорах в другом городе и проезжал мимо какого-то маленького городка, где делают потрясающую домашнюю колбасу. Оказалось, что он всегда, когда едет в сторону океана, заезжает в тот городок и обязательно привозит эту колбасу. Наташа говорит мне: «Давай, Ир, пойдем, будем ее готовить». А я обожаю готовить, хотя в жизни такой колбасы просто не видела. Она домашняя такая, закрученная. И вот, как сейчас помню, мы поставили сковороду, раскалили ее и жарим. Аромат! Мужики, трое, на первом этаже уже явно выпивают, Валя, Андрей и Сергей. А мы шкварим с Наташей вот эту закрученную загогулину, которая на наших глазах раздувается, потом превращается во что-то жареное, вкусное, потом на блюдо раскладываем какую-то зелень сумасшедшую, параллельно она меня научила делать шампиньоны, в те года шампиньоны у нас не продавались. А в Бельгии в то время – это самая нормальная еда, она при мне их нарезала, кинула на сковороду и залила сливками. Я не знала, что это надо делать так. У нее получилось что-то невероятно вкусное, сливки, сливочное масло, немножко мучицы, немножко соуса «карри». Я и сейчас так готовлю.

И вот Наташа подавала эту потрясающую колбасу с этими шампиньонами, с зелеными салатами, а мужчины тут же на-

ливали пиво. Колбасу такого вкуса я никогда не пробовала, хотя перепробовала много всякой еды, в разных странах мира, но вот та была особенная. Это было с Валечкой, Наташей и Тарковским на Неделе советского фильма.

Как-то ехали мы в город Брюгге на машине. Тарковский говорит: «Посмотрите, посмотрите, что вокруг. Какой пейзаж! Это абсолютный Брейгель, мой самый любимый художник». А я очень люблю изобразительное искусство. Моя самая любимая живопись – фламандская. И мои самые любимые художники – это Мемлинг, Моне, Ван Дейк... Это все то, что я увидела в Бельгии в подлиннике. Незабываемое ощущение. Если бы меня спросили: «Что вы любите, когда путешествуете, уезжая за границу?», я бы обязательно сказала: другой мир, и самое главное – великое откровение увидеть то, что ты видела на иллюстрациях в книжках. У меня целая библиотека по изобразительному искусству, но увидеть хоть что-то из этого в подлиннике – это прекрасно! Так вот, мы едем в Брюгге, он говорит про Брейгеля. И действительно, позже ему подарили ребята потрясающий альбом (я потом тоже купила себе альбом Брейгеля), открываю его – действительно, это весь тот пейзаж, который был в 1975 или 76-м году. Хотя писал он его в XV веке. Ну, изменилось там кое-что. Машины ездят. Столбы с электрическими проводами. Но все равно пейзаж тот же. Это было поразительно.

В Брюгге мы входим в один храм, и я вдруг вижу справа: без охраны, подсвеченная, в человеческий рост, огромная

картина. Подхожу. Написано: «Мемлинг». Моя любимейшая картина, которая у меня в альбоме вынесена на обложку. Потрясающий портрет женщины, в таком кокошнике с тоненькой сеточкой белой вуали, которая наполовину прикрывает лицо. Это так написано! Через эту вуаль виден глаз, и лицо, костюм, вся ее поэтичность, внутренняя сдержанность и глубина этой фламандской женщины. То ли монашка, то ли мирянка... Но так красиво! И так далеко. Но я – из другой жизни – все это вижу, разговаривая по-французски с жителями этого города и общаясь с великим, как чуть позже стало ясно, кинорежиссером Андреем Тарковским.

Нет, я уже знала, что он знаменитый режиссер, он и тогда был суперзнаменитым режиссером. Но картину «Андрей Рублев» клали на полку, потом ее выпускали. Потом весь мир о ней гудел. Потом демонтировали. Он отстаивал, бился, боролся за тот подлинный вариант, чтобы его разрешили. Тарковского принимали в Европе как очень знаменитого режиссера. Поэтому ехать с ним туда, в эту страну, да еще с двумя фильмами, было для меня почетно.

А обо мне там написала одна бельгийская газета после просмотра «Дяди Вани»: «Это приехала советская Мэрилин Монро». Я жутко испугалась, что после такой статьи, после таких эпитетов меня не выпустят ни за какую границу. Потому что для нас это была не похвала, а, наоборот, хула. Что такое Мэрилин Монро для тех советских времен? Это нечто совершенно невозможное, что-то «вульгарное»,

западное, «сексапильное», экстравагантное и вообще что-то за гранью. Советская девушка не могла быть на нее похожа. И то, что меня сравнивали с ней, в данном случае было не комплиментом, а наоборот. Это сегодня каждая бы мечтала, чтобы ее так называли. А по тем временам я просто пугалась. Но, надо сказать, что, конечно, они так образно писали, потому что, наверное, в «Дяде Ване» моя Елена Андреевна очень чувственная и очень женственная, и вся белокурая, и должна быть очень красивой женщиной. В принципе. И так меня делали, и так меня снимали, и так меня Кончаловский настраивал на эту роль.

У меня есть совершенно замечательная фотография Валеры Плотникова, которую вот уж «желтая пресса» раздула бы, расписала бы. Но, слава Богу, теперь есть книга Андрея Кончаловского, и я не в списке его женщин. Не знаю, хорошо это или плохо. Жаль или нет, но по крайней мере в то время и в те годы даже в голову не приходило, мне точно, и я думаю, что ему тоже. Потому что у него была совершенно другая жизнь, была французенка-жена. И она была на сносях, и мы все знали. И Андрей был влюбленный, очень широкий, хлебосольный и очень интересный человек.

Андрей Кончаловский. Одну из первых встреч он устроил нам после проб и утверждения на роли, пригласил несколько человек обедать в Союз писателей. В потрясающий деревянный ресторан. Приехали после съемки, была его жена. И они очень нежно, очень тепло друг к другу относились. Она так

смешно говорила, у нее был такой очаровательный французский акцент, ну просто прелестная француженка, с огромными такими черными глазами, пухлыми губками, очень манкая, интеллигентная женщина. Такая типичная маленькая парижанка. Мы все понимали, что он любил ее. И это была красивая пара, ничего не скажешь.

Он удивительно интересный режиссер. Очень современный. Очень глубокий. Очень тонкий, чувствующий любую фальшь. И очень легко все трактующий, очень киношно все понимающий. Он меня настраивал на сцену с Астровым, он ко мне склонился и шепчет-шепчет на ухо: «Ты должна быть очень чувственная, Астров и манит и волнует Елену, и она уже влюблена, и она готова “улететь бы вольною птицей от всех вас”». Ей так хочется любви, ей так хочется разорвать свои цепи, эти узы запретов, ей так хочется вырваться на волю ее сути, ее женского начала, страсти, которая уже внутри, конечно, горит, бушует». И вот так я должна была войти в эту сцену с Астровым и с дядей Ваней, который потом их застает целующимися. И Кончаловский говорит: «Понимаешь, ты должна вот так сидеть, а у тебя кончики пальцев должны быть мокрыми и холодными от волнения, от предчувствия, от ожидания любого прикосновения». Поэтому вдруг возник в руках ножик, которым разрезают газеты, и Елена этот ножичек все время в руках вертит. Он меня даже этому не учил. Только настраивал. Но настраивал в ухо. И со стороны фотограф, конечно, сфотографировал, как я стою, какая-то

уже вся взбудораженная, возбужденная, полуоткрытый рот, и я такая вся почти вошедшая в сцену страсти к Астрову. А Кончаловский как коршун склонился и что-то такое на ухо мне шепчет.

Так что фотография прекрасная и очень точная. Потому что я с этим ощущением вошла в сцену, и она действительно получилась очень загадочно-нервно-эмоциональной. Эту сцену было очень трудно сыграть. Потому что с холодным носом или с холодными ощущениями ее не сыграешь. Ее невозможно рассчитать. Ее нужно было почувствовать. И в этот момент как раз и нужен режиссер, который мог настроить так актеров и такую создать атмосферу, когда без стеснения, без какого-то ступора можно кинуться в эти эмоции и в эти чувства. Это Андрей Кончаловский.

Первый съемочный день был где-то недалеко от его дачи на Николиной Горе и на даче. Когда мы разбили первую тарелку и первая хлопушка обозначила начало фильма, мы сняли целую сцену, когда мы гуляем и входим в дом. Я, Ирочка Купченко, Ирина Анисимовна Вульф, Коля Пастухов, Иннокентий Смоктуновский и Владимир Михайлович Зельдин. Андрей устроил невероятный банкет у себя на даче, еще была жива его матушка, Наталья Петровна Кончаловская, которая всем этим руководила, угощала. Очаровательная женщина. Легенда. О ней можно целую книгу писать, и не одну. И наверняка написано очень много, вот что такое – русская интеллигенция. Художническая интеллиген-

ция. Порода. Благородство, культура, ирония, юмор, все в ней. Она легкая была в общении. Очень красивая женщина. И этот первый день – это было нечто.

Естественно, чуть-чуть все подвыпили. Подвыпил и Андрей, и Рерберг Гоша, оператор, а мы после съемки должны были ехать домой в центр. И Андрей сказал: «Я вас отвезу на “Волге”». А я, поскольку жутко «тверезый» человек, смотрю, они все выпивают, и говорю: «А как же мы поедем?» Андрей говорит: «Не волнуйся». А я в это время только начинала учиться водить машину. Мечтала быть за рулем. Когда заканчивала 11-й класс, нам ввели совершенно, как всем казалось, ненужный предмет, но для меня, как потом оказалось, очень важный – машиноведение. На этот предмет не ходил никто. Кроме меня. Я изучила машину с ног до головы. По сегодняшний день я могу открыть, посмотреть мотор и кое-что понять. Разобраться, что там. Машину я знаю снаружи и изнутри.

Так вот, у меня уже был за спиной целый курс машиноведения, и я только-только начинала учиться. Закончился банкет, часть на автобусах повезли, мы чуть-чуть задержались, потому что я не могла оторваться от Натальи Петровны, мне было с ней так интересно! Она написала книгу об Эдит Пиаф, потрясающе. А я обожала французскую эстраду и, будучи студенткой, пела почти весь репертуар Эдит Пиаф, и все студенты меня знали, даже из других институтов часто приходили и слушали. И Наталья Петровна безумно ин-

тересно рассказывала мне о ней.

И вот наконец напихивает Андрей целую машину, садится за руль, троих вместе со мной – на заднее сиденье, впереди – он и Рерберг. И едет быстро. Я начинаю говорить, что меня укачивает, что я боюсь. И вдруг Андрей мне: «Так, хватит там пиццать. Если так сильно боишься, садись сама и поезжай. Слабо?» Я сказала: «Нет, не слабо. Я готова». – «Если ты такая трезвая и уверенная, садись». И что вы думаете? Я сажусь за руль и начинаю тихо ехать. Причем, поймите, это правительственная трасса. Николина Гора. Милиционер через каждые сто метров. У меня нет ни прав, ни документов, сзади сидит веселый хозяин машины, рядом – подвыпивший оператор, и я, вцепившись в руль, очень медленно и очень аккуратно веду машину. Проезжаю вправо. Андрей говорит: «Дача Буденного. Ну-ка, давай подгазуй немного, сейчас вверх в гору, иначе заглохнешь. Гошъ, поддай немного газу». Тут Гоша со всего маху мне на ногу, которая на педали газа, надавливает, и машина рвется вперед. Я, естественно, охаю и думаю, Господи, только бы не разбиться! Говорю: «Прекратите! Я сама! Я сама!» Он ногой давит. Я, значит, с размаху локтем ему по колену. Это великому оператору, которого уже нет ныне в живых. «Прекратите!» И тихо еду.

Что вы думаете, я так доехала до Москвы. Почти что до «Мосфильма», припарковала машину, это у меня было первое боевое крещение. Потом Кончаловский вышел и сказал: «Ну, ты молодец», а Рерберг: «А мне было хорошо, спокойно

так. Только очень медленно. Я так не привык». Я вышла из машины, думаю: «Так, дальше беру такси». И вдруг почувствовала, что у меня обмякли руки, я куда-то провалилась от усталости и от ужаса, от того страха, который вдруг на меня нахлынул, – а если б мы разбились, если б я разбила машину чужую, оператора, самого Андрея Кончаловского, сзади сидела Иришка Купченко, кто-то еще, кажется, Мила Кускова, художница... Господи, что это со мной было? Короче, старт был невероятный, но вот, наверное, мужество автомобилиста и мужская часть характера тогда каким-то образом у меня проявились.

Поразительно, но почти такая же история произошла через много-много лет. Когда уже с фильмом «Дядя Ваня», как писала «Ла набет филма», «...звезда советского кинематографа Ирина Мирошниченко» приехала в Норвегию. При чем летела я туда одна. Это первый раз, когда я прилетела на несколько дней на премьеру фильма одна! Премьера в Осло и в каком-то еще городе, кажется, в Тронхейме, это где-то на севере, наверху. Зима несусветная. Я еду в аэропорт Шереметьево. Заказала такси. Конечно, опоздала. Всю ночь «складывалась». Накануне у меня был спектакль. И надо сказать, что вообще у меня жизнь летит, как шальная. Я все время работала без остановки. Нахватывала работы очень много. И, пожалуй, за одну жизнь, если вот так посчитать, я прожила три, потому что было ну просто очень много всего. Особенно в те годы было насыщено – в 70–80-е. У меня было 11 на-

именований в афише Московского Художественного театра, и все это главные роли. И практически я была одна, без дублерш, и поэтому должна была ловить какие-то крошечные перерывы, вырываться или на киносъемку, или на несколько дней на премьеры в Европу. Так вот, Осло. Я опаздываю. Подъезжаю к Шереметьеву. Регистрация закончилась. Но я уж так всегда себя ощущала, что меня все знают, все симпатизируют. Но попалась противная тетка. Вот уперлась рогом, и все. Опоздали – и все.

И я разозлилась. Нет чтобы мне ее упросить. Но у меня было плохое настроение, ранее утро. Я говорю: «Подождите одну секунду. Я же здесь. Самолет здесь. Добегу». В ответ услышала: «Вы опоздали, и все». – «Ну поймите, у меня там премьера». – «Ничего не могу сделать. Вот такие сейчас правила новые. Ужесточенные. Вы не успеете пройти таможенно». Короче, уперлась, и все. Все!

Я стою внизу. А самолет взлетает. А у меня билет Москва – Осло. Если б хотела, она могла бы пустить. Я бы успела. Я не знаю, куда мне деваться. Расстроенная. Нервная. Иду к какому-то начальнику: «Что мне делать?» Слезы в глазах. Понимаю, что срываю премьеру. «У меня вечером в Осло премьера фильма. Я должна стоять на сцене. Сделайте что-нибудь». Он вдруг спокойно: «Не нервничайте. Что-нибудь придумаем». Я поняла, что советские люди в беде не оставляют другого человека, такой очень правильный, нормальный, хороший советский человек. Говорю абсолютно

искренне, без иронии.

Тут же связался с главной кассиршей всего Шереметьева (после этой истории мы стали с ней дружить), этот телефон я знала наизусть, и по всем вопросам – только к ней. Она уже потом ходила, смотрела все спектакли у меня в театре. Мне было с ней так легко, потому что она такая очаровательная женщина. Абсолютный профессионал. Заведующая всеми кассами билетного зала Шереметьева, которая сразу мне: «Так, не нервничать. Не плакать. Сейчас что-нибудь придумаем. Летим через Амстердам, Москва – Амстердам. Там из Амстердама прямой самолет Амстердам – Осло. Успеваем. Днем будем. Даем телекс, даем (тогда еще не было телефонов мобильных) срочную телеграмму. «А как же меня там встретят?» – «Буквально через тридцать минут – самолет на Осло, бегом туда». И я уже лечу из Москвы в Амстердам. Пью кофе, засыпаю. Открываю глаза – Амстердам.

Меня предупредили: самое главное, амстердамский аэропорт большой, там где-то в центре нужно найти какую-то дорожку, какие-то цифры, там будет представитель «Аэрофлота». Он вас проводит. Быстро перебежите, потому что там будет очень мало времени между вашим рейсом и рейсом Амстердам – Осло, всего 30 минут. У меня огромный красный чемодан. Там же туалеты, норка, всякие невероятные тряпки, я же должна кинозвездой представлять страну, на один вечер один туалет, на другой – другое. Этот днем, этот вечером.

В общем, нас выводят. И в первый раз я вижу амстердамский аэропорт. Это ужас. Это город. С какими-то эскалаторами, которые идут по коридору, то есть сегодня этим не удивишь, но представьте, это ж какой год! Вдруг под тобой едет земля. Народ – в одну сторону, в другую. Тут тебе и французы, и негры, и японцы, и китайцы, и шведы. Весь мир! Все это гудит. Пахнет кофе. Французскими духами. Табаком. Трубками. Наверху какие-то табло. Е, А, О... Я ничего не понимаю. Просто погибаю одна. Меня спасают только энтузиазм и французский язык. И я останавливаю всех и начинаю спрашивать, где «Аэрофлот». Никто ничего не знает, какой «Аэрофлот»?

Наконец я подлетаю к двум мужчинам в потрясающей черной форме, ясно, что идут какие-то пилоты, то ли шведы, то ли англичане. Красивые, заразы. Я по-французски: «Где представитель... “Аэрофлот”?» Он очень вежливо говорит: «Ну, я не знаю, я тоже пролетом. Я работаю в компании...» Наконец мне показывают «Центральную справочную». К этой «Центральной справочной» стоит очередь. Но я по советским законам, вы сами понимаете, без очереди, в окошко всовываю лицо. И на французском языке нервно говорю: «Помогите! Мне нужен мужчина». Громко так!

Девушка в кассе вскидывает голову и непонимающим голландским взглядом смотрит на безумную, которая воткнулась ей в окошко и очень темпераментно требует мужчину. Она что-то пытается сказать. Потом я говорю: «Мне нужен

советский мужчина из «Аэрофлота»». Тут она понимает. Я говорю: «У меня всего 15 минут». Она, кажется, все поняла. И в это время раздался совершенно потрясающий мужской голос у меня в левом ухе: «Ирина, меня ищите?» Я поворачиваю голову. Стоит представитель «Аэрофлота» в красивой одежде, наш, русский. «Мы успеем, не волнуйтесь, где ваши вещи?» И мы, как шальные, дунули.

Это был совершенно потрясающий полет. Красный чемодан успел из амстердамского самолета перекинуться в самолет в Осло. Я взлетаю. Лететь там очень мало. Жуткая посадка. Что-то невозможно снежное, северное, холодное. Меня уже ждал очень приятного вида красивый мужчина – представитель Совэкспортфильма. Повез сначала в посольство, потом к себе домой, там милейшая жена, накрытый стол. Потом прием, и меня уже в два часа ночи отвозят в гостиницу. А в пять утра уже надо выезжать в Тронхейм, это километров 300 или 400 – там премьера на следующий день. Я засыпаю.

Встаю утром, еще темень крошечная. Сажусь в машину. А представитель какой-то немножко «красного вида» после вечерней трапезы. Скользко невероятно. Я впервые увидела, что на колеса машины были надеты цепи. Ну, к этому времени у меня был уже свой автомобиль, и я довольно лихо ездила.

Нам надо было ехать через всю страну. И вот мы садимся, едем и вдруг я вижу, что он как будто в полудреме. Не выспался. Видно, что ему очень и очень тяжело. А я, поскольку

непьющая, поспала. Мне три часа вполне достаточно. «Давайте, я поведу машину». Он так на меня косо посмотрел: «А права есть?» – «Да, есть. И более того, международные». Он говорит: «Ну, сейчас чуть-чуть отъедем. Но я могу и сам». Я говорю: «Ну, может, немножко подремлете». И он согласился.

И вот мы выезжаем за город и пересаживаемся. Иностранная машина, а у меня дома «Москвич». Это разные вещи. Он садится сначала рядом, я начинаю аккуратно ехать и думаю: «Как здорово. Я за границей. Я сижу за рулем в иномарке». Я тогда и не мечтала, что у меня когда-нибудь будет иномарка. И вообще, что я буду ехать по загранице сама. Смотрю, а представитель успокаивается и уже начинает дремать.

Мы заехали куда-то, позавтракали. Причем, что поразительно, подъезжаем, паркуемся, входим в какой-то дом. Это даже не кафе, это просто дом. Все открыто. Раннее утро. Он заходит и спрашивает: «Где можно позавтракать?» А ему: «Пожалуйста, садитесь у нас». Кофе, какие-то пироги, яичница. Быстро нас накормили. Он рассчитался. Вернулись в машину. И он спокойно говорит: «Я сяду сзади, посплю».

И я еду. Дорога скользкая – невозможно! Снега – тьма. Красивейший пейзаж. Горы, огромные деревья. Потрясающие елки. Абсолютно зимний северный ландшафт. И передо мной едут невероятные грузовики. Огромные, на которых внизу написано: «Тир». Я думаю: «Как интересно, цирк едет». «Тир, тир». Боюсь их обгонять, потому что в одну сто-

рону машины и в другую, то есть в два ряда. И вдруг они мне мигают. Левой мигалкой. Думаю: «Чего они мне мигают?» Наверное, пойдет на обгон. А впереди никого нет. Он мне опять мигает. Потом смотрю, руку высунул, машет. Думаю, чего он от меня хочет? Мозги совершенно советские. Думаю, надо будить нашего представителя. Но еду спокойно, и ничего. Водитель ждал-ждал и умчался вперед. Я еду дальше. Потом следующий грузовик. На нем опять внизу написано «Тир». Черт возьми, что такое? Вторая машина «Тир». Дурьнда. Позже я поняла, что это международный знак. Это не тир в нашем понимании, где стреляют. Что это не циркачи едут. Что нормальные грузовые автомобили. И опять левой мигает-мигает-мигает... И наконец я поняла, вот ведь вежливые европейцы, он мне подсказывал, что можно обгонять. Что впереди свободно. Пожалуйста, давай, иди вперед. Я по газам, обогнала. И он мне машет изо всех сил, и я улыбаюсь изо всех сил.

Уже тогда я увидела и узнала, что такое европейский водитель. Какие они доброжелательные, какие они вежливые, как они машут друг другу и приветствуют. А ведь это было много-много лет назад. С той поры я взяла себе это за правило. Потому что, мне кажется, что вот такое братство людей разных национальностей, но одной профессии или связанных одним делом, – это всегда очень здорово. Это очень подкупает. Мне бы хотелось, чтобы сегодня и у нас в Москве тоже появилась эта мода, она уже многими освоена, многие,

так же как и я, открыли для себя Европу и Америку, и точно так же многие узнали, что такое вежливость на дороге. И мне кажется, что это входит в нашу традицию. Это очень здорово.

Второй раз я тогда провела машину в экстремальной ситуации для водителя. Очень рада, что я справилась с этим.

Сказав, что я буду писать эту книгу под названием «Расскажу...», я, конечно же, сразу стала заложницей представления каждого о том, о чем будет мой рассказ. Сразу возникает впечатление, что это нечто потаенное, то, что я хотела бы высказать и выложить на страницах печатной книги. Это не так. Я этого делать никогда не буду. Наверное, потому, что, может, слишком эгоистична. И по большому счету, не могу это рассказывать. А может быть, потому, что что-то себе в голову вбила или так воспитали. Мне всегда казалось, что это не очень прилично. Рассказывать то, что связано с другими людьми. И с их интимной частью жизни. Интимной не в смысле взаимоотношений в спальне, а в смысле их внутренних влюбленностей, разочарований, одиночества, при которых люди на время сливаются в одно целое и потом разбегаются вдруг в разные стороны. Некоторые потом начинают выливать свою ненависть по поводу того, что они расстались. Некоторые, наоборот, сладострастно вспоминают о тех счастливых минутах, которые больше невозможно повторить. Я читала не книги такие, а больше интервью в прессе. И меня это почему-то всегда корбило. И даже если эти лю-

ди, которые об этом писали, для меня были очень уважаемы, чуть-чуть таинственны, загадочны, что-то я о них знала, что-то домысливала или что-то я слышала, любые сплетни, любые рассказы, но это были домыслы, а когда вдруг я читаю с их слов конкретно и четко, меня лично это всегда огорчает и разочаровывает.

Может быть, это абсолютная глупость, но вот так я устроена. Поэтому я этого делать никогда не буду. Я прожила, и надеюсь, еще проживу, хотелось бы в это верить, невероятно красивую, яркую, мучительную, трудную, всякую жизнь. Как, наверное, каждый человек. Ее невозможно вот так взять и описать в книжке. То есть все повторить. Прежде всего, мир, который тебя окружает, людей, которые тебя окружают. Твое ощущение от них. То, чему ты посвятила всю свою жизнь. А я – так уж сложилась моя судьба – посвятила всю свою жизнь профессии. Плохо это, хорошо ли, не знаю. Это судить, простите, не вам, мой дорогой читатель, не мне, это что-то сверху меня будет или осуждать, или наказывать, или, наоборот, по головке гладить. Не знаю.

От чего это шло? Я уже начала рассказывать. Наверное, из детства, наверное, от родителей. Наверное, от бедности, в которой мы жили, наверное, от желания кем-то стать, чтобы покорить, завоевать, увлечь и вообще чтобы что-то произошло в твоей жизни, чтобы ты была интересной. Состоялась. Отчасти это сбылось, отчасти – нет. Но то, что я в своей жизни встречала и тех людей, и те обстоятельства, и те яркие

минуты, мне кажется, достойно того, чтобы оказаться перед глазами читателей. Это, прежде всего, театр, в котором я работаю всю жизнь. Больше сорока лет.

Московский Художественный театр. Что это за организм? Что это за коллектив? Что это за легендарные личности, с которыми я встречалась изо дня в день и встречаюсь до сих пор? Что это за люди? Каков механизм творчества? Когда бывают взлеты, когда бывает абсолютный распад? Когда бывает очень хорошо? Конечно, об этом написана масса книг. Снималась масса фильмов. И я рассказывала в каких-то интервью, но вот так, чтобы карандашом на бумаге, или компьютером на листах, практически никогда не описывала мои впечатления о великих актерах, с которыми я работала каждый день. Что такое, например, приход в Художественный театр, когда я только закончила студию МХАТ и получила диплом. Меня сразу же приняли во МХАТ. В этот классический, старинный, музейный, отчасти такой архаичный, в моем сознании лучший театр в мире, где был коллектив под тысячу человек, и даже больше.

В начале сентября я пришла на сбор труппы. И вот полный зал актеров: как их называли, 33 богатыря, – все народные Советского Союза, еще старики великие, огромная труппа потрясающих артистов, все цеха, – в общем, весь театр сидит.

И вот тогдашний директор театра, простите, не помню его фамилию, объявляет двух принятых в коллектив. Ири-

ну, и дальше он не может произнести мою фамилию, у меня так, кстати, было дважды в жизни. Мир... Мире... ко... Я встаю, затаив дыхание, захлебнувшись, с одной стороны, от обиды, с другой – от страха перед всеми остальными, и от волнения. И кланяюсь, и смотрю, как повернулись, поскольку я сидела дальше, а в центре зала сидели все: Тарасова, Ливанов, Яншин, Массальский, Прудкин, Кторов, Кедров. Все великие, которых наверняка молодежь даже не помнит, а те, кто постарше, понимают, что это легенды. Они так повернули головы назад и все меня с ног до головы осмотрели. Что за чудо пришло к ним в театр? Потому что молодежи было мало, и раз уж меня взяли, то, значит, это что-то. Вот посмотрели. Я, робея, брякнула что-то вроде «здравствуйте, спасибо»... ну и села. И второго назвали, Алексея Борзунова, который точно так же рядом со мной сидит, тоже встал какого-то пунцового цвета, тоже чего-то там «хрюкнул» и тоже сел.

Вот с той минуты началась наша работа в этом театре. С самого начала мы попали на партийное собрание с привлечением молодежи, где выступала Ангелина Иосифовна Степанова, которая была парторгом. Но это было нечто. Стояла красивейшая женщина. Которая первое, что спросила, – как вам мой туалет от Зайцева? Чем совершенно меня шокировала. Она понимала значимость и значение секретаря партийной организации Московского Художественного театра, но при этом оставалась актрисой и женщиной. И это доми-

нировало. И она очень стеснялась, как мне кажется, вот такого партийного лейбла, поэтому, кокетничая, начала с какой-то женской истории. Потом она прочитала передовицу «Правды». Все с очень серьезным видом прослушали. Особенно мы, молодые. Слушали, что от нас требует партия. А потом перешли к самому важному – дисциплине и отношению к делу.

Затянулось это минут на 30. Но я вдруг услышала крупницы того, что усвоила на всю жизнь. Все это партсобрание у меня осталось в памяти прежде всего как определенные законы, которые озвучила Ангелина Иосифовна Степанова. И они были немножко ее личностные. В этом было отношение к театру, к искусству. Прежде всего, она говорила о достоинстве, которое включает в себя очень многое. Не лебезить перед вышестоящими. Не распластываться перед режиссерами. Ценить себя. Свое искусство в себе. Ощущать себя человеком. Потому что профессия построена на том, что тебя будут унижать с самого первого шага. И каждый может сказать, что ты – ничто. Что ты бездарен. Что ты не нравишься. И вообще не нужен. А ты должен все время доказывать, что ты можешь сыграть роль. Выйди, покажи, что ты такое есть. А как может человек выйти и показать свой внутренний мир, который очень хрупок? Как может выйти на сцену человек и показать то, что он пережил? То, что он чувствует. О чем плачет. Показать лучшие стороны своей души. Перед неинтересными или, наоборот, очень интересными, людьми,

которые должны поставить оценку твоей жизни. Это очень трудно. И вся профессия построена именно на этом.

Степанова прожила очень интересную жизнь, но это я позже узнала, а в тот миг поняла, что ее сила в том, что она жила достойно. И всегда оставалась благородным и внутри красивым человеком во всех ситуациях, даже совершая ошибки, – каждый человек может ошибиться.

А потом она вдруг стала рассказывать о том, что такое женщина. Как она должна выглядеть. Как должна за собой ухаживать. Не просто женщина, а актриса Московского Художественного театра. Как она должна нести свое лицо и свое «я» перед всеми людьми, куда бы ни приехала, где бы ни была: в магазине, ресторане, в поезде, на рынке, на репетиции. В Кремле, куда она ходила на заседания правительства. И так далее. Каков ее лик. Каков ее стиль. Какова ее манера. И вы знаете, я, наверное, как губка, все это впитала – услышала, почувствовала, поняла.

Надо сказать, что в то время я была очень устремлена на Запад. Еще будучи студенткой, я все время ходила по проезду Художественного театра, раньше он так назывался. Рядом, на Пушкинской улице, – театральная библиотека, где я занималась вечерами, днями, по выходным. Где готовились мы к экзаменам. И у меня там, на углу, был свой столик. Я его очень любила, и даже сейчас, давая однажды интервью для какого-то телевизионного канала, я предложила снимать в этой библиотеке. Было очень забавно, потому что там си-

дишь, и из окна виден переулок, Художественный театр, в другую сторону – Колонный зал Дома Союзов, Театр оперетты. Самый центр Москвы. И какая-то очень интересная театральная жизнь. Большой театр.

Мне в библиотеке безумно нравилось сидеть и заниматься. Более того, там я изучала живопись, читала книги по русской литературе. У нас преподавали два очень интересных человека – Белкин и Синявский, который тогда считался диссидентом. Так вот этот диссидент у нас читал лекции, и у меня стоит в дипломе его подпись под «пятеркой» по русской литературе. Безумно интересно читал. И я, сидя в библиотеке, естественно, вычитывала все то, о чем он рассказывал. Как он читал о Достоевском! Это было нечто. Его лекции – незабываемое что-то.

И еще у нас было потрясающее освещение в аудитории, когда он сидел с рыжей бородой и свет падал ему в глаза. Они были у него разные. Один смотрел в одну сторону, другой – в другую. Они светились каким-то непонятным одержимым восторженным светом, и его лекции запоминались... Я не столько помню Достоевского, сколько Синявского, который читал о Достоевском.

Так вот, в этой библиотеке я брала замечательные журналы. Они назывались «Синемонд» и были на французском языке, а я, как уже вам рассказывала, с шести лет учила французский язык, спасибо моим родителям, моим золотым, святым, дорогим людям, которые себе во всем отказы-

вали, но брали мне педагога для того, чтобы Ирочка поучила французский язык, для того, чтобы Ирочка потом поехала обязательно во Францию. Они еще тогда не подозревали, что потом Ирочка давала интервью, и разговаривала, и вела пресс-конференцию по-французски благодаря им.

На обложках этих журналов были западные звезды. Для меня была как удар под дых – фотография Моники Вити! Итальянка. Суперзвезда. И муза Антониони. Я пересмотрела несколько фильмов с ней на кинофестивалях. Я читала о ней. Я видела ее портреты. Мне она так нравилась! Вот для меня она была эталоном звезды. Мне хотелось быть не то что похожей, но куда-то туда уходящей. Вот в эту европейскую культуру. Хотя в это время были безумно модные и Клаудиа Кардинале, и, конечно, Софи Лорен, и Элиз Тейлор, и Анук Эме, и замечательная Жанна Моро, конечно, она забивала во Франции всех других актрис, она считалась самой сломанной, странной, очень яркой актрисой, но... Моника Вити для меня была особенной! И, наверное, оттуда пошли мои белые волосы, наверное, оттуда пошел такой стиль, абсолютно свободный в одежде, пластика определенная.

Хотя пластика у меня была заложена еще раньше Ильей Рутбергом. Совершенно великим нашим человеком, который начинал и был увлечен пантомимой. Еще до школы-студии МХАТ я год занималась в театральной студии Михаила Шатрова по вечерам, а днем учила французский язык. И в этой студии одним из предметов была пантомима, которую

вел Илья Рутберг. У него были две самые что ни на есть любимые ученицы: я и Аида Чернова. А Аида Чернова работала потом у Любимова и делала свои пантомимические постановки. Открыла свой пантомимический театр. Я по этому направлению не пошла, но овладела этим искусством достаточно хорошо для тех лет. На меня возлагал огромные надежды Илья. И пластика пантомимическая, балетная, мне очень помогала в работе. Она давала какой-то свой стиль, свою манеру и пластику жизни.

Все во мне было настроено на Запад. На Европу. И может, поэтому очень многие критики писали, что все мои роли – это практически европейские женщины, хотя я играла советских женщин, но с налетом абсолютно европейского стиля. Может, я и внесла какой-то вклад в кинематографе, но в небольших объемах, потому что все-таки я была прежде всего театральной актрисой и есть театральная актриса. Я от очень многих ролей в кино отказывалась. Потому что мне нужно было для съемок уезжать, мне предлагали поездки в другие города на несколько месяцев, но я понимала, что тогда со своим репертуаром выхожу из обоймы первых актрис театра. Это для меня совершенно невозможно, и поэтому я отказывалась от кино. Но тем не менее те роли, которые были все-таки сыграны, имели всегда свой стиль и все-таки европейский уровень и класс. И я к этому очень четко стремилась и очень четко это отслеживала и делала. Потому что это нравилось и публике, и режиссуре, и критике.

Так вот, все мои мысли были устремлены на Запад, а тут женщина – актриса Художественного театра. Не скрою, вначале мне казалось все немножко нафталинным во МХАТе. И наши легендарные женщины – тоже. Но это было моей ошибкой. Наверное, это свойственно молодежи и современности. Мне хотелось делать все по-другому. Мне хотелось по-другому и современно играть. Что я потом и делала. Но, став постарше и узнав их получше, я стала видеть в них самое что ни на есть ценное и дорогое, что мне было безумно интересно. Неважно, как они одевались. Как они существовали. Как они общались друг с другом. Очень отчужденно. Без панибратства.

Там были четыре ведущие актрисы: Тарасова, Андровская, Еланская, Степанова. Они были совершенно разные. Они все были, как сегодня бы сказали, звездами. Тогда вообще это слово не употреблялось. Оно было неприличным, потому что это что-то такое сиюминутное, модное. Они были Мастерами. Они были чем-то вечным. Потому что можно сыграть какую-то одну роль, прославиться и вот тут же прямо на небе засверкать, а потом точно так же сгореть. А те актрисы, про которых я говорю, они жили, играя самое лучшее. И жили по законам, так сказать, уже состоявшихся и навсегда устоявшихся... звезд рубиновых на Кремлевских башнях, понимаете? Которые уже невозможно погасить. Потому что в них не было сиюминутности. В них была вечность. Вечность в подходе к работе. Вечность в умении создавать

шедевры. Вечность даже ошибаться и провалить некоторые роли. Мучиться от этого. Но потом обязательно создать что-то другое. Потому что они были изначально талантливы, изначально живы, и изначально очень требовательны к себе, и неуспокоенные абсолютно. До последних дней.

Алла Константиновна Тарасова играла последний спектакль, и я имела счастье играть ее дочь, хотя ей было 78 лет, а мне... Непонятно, почему, но дочь. Никому бы в зрительном зале в голову не пришло усомниться в том, что я ее дочка, а она моя мама. Потому что она на сцене была молода, энергична, экспрессивна. Это был последний ее спектакль за неделю до смерти. Через неделю ее не стало. Так вот, играя этот спектакль, перед вторым актом мы сидели под сценой. Потом надо было по зажженной лампочке подняться на сцену, потом по следующим ступенькам – на высочайший станок. Это нужно было одним махом пролететь, и сверху со станка бежать вниз.

Там были совершенно дикие декорации, это одна из самых первых постановок Ефремова, когда он пришел к нам в театр. Старики сами его позвали во главе с Аллой Константиновной Тарасовой. Спасать театр. Пришел Ефремов. И мы ночами репетировали этот спектакль – «Валентин и Валентина». И состав был мощнейший. Валентина – Вертинская. Валентин – Киндинов. Две мамы Валентины – Тарасова, Георгиевская. Я – старшая дочка, «прохожим» выходил сам Ефремов. Все играли. И суперсовременные декора-

ции, железные станки. Совершенно ничего не вписывалось в понятия Тарасовой о слове «декорация». Ефремов говорит: «Да, Алла Константиновна, все будет красиво, все будет современно». – «Хорошо», – тихо сказала она. И вот в свои за 70, сверху по этим станкам, она должна бежать вниз, и как бы попадать в комнату Валентина, и видеть там свою дочь, и понимать, что она там провела ночь. И она потерянная должна была кричать: «Ты, ты, ты была здесь! Дрянь!» И бить ее по лицу. Та – в шоке. Алла Константиновна – в истерике. Я – в растерянности, поскольку старшая сестра, и вроде как понимаю всегда свою младшую. И в то же время жалко маму. Бегу за ней.

Представьте себе, сцена гигантская, и вот мы сидим внизу, должна зажечься лампочка, сидит Алла Константиновна, вся такая в платочке, сосредоточенная, собранная, взволнованная перед этой сценой, как будто нет ее безумных лет, ее огромного опыта и славы. Как будто она только сейчас начинает творить. Боже мой, как здорово, в этом, наверное, внутренняя молодость души, в том, что до последних дней человек остается по большому счету ищущим, молодым, робким. Это потрясающее качество истинного таланта.

А в это время в маленькой курилке под сценой сидят рабочие и гогочут, и рассказывают анекдоты. Нормально. Так всегда, везде и всюду. Алла Константиновна вскакивает со стула, летит на цыпочках туда, открывает дверь. И я слышу шепотом: «Что это за безобразие? Это Художественный те-

атр! Как вам не стыдно!» В это время зажигается лампа, нам надо уже выходить на сцену. Она обратно бегом... Впрыгивает на эту лестницу, бежит наверх, на сцену, потом на сцене еще на одну лестницу, видит Вертинскую, и кричит: «Ты, ты была здесь?!» Бегом по этим станкам. Пощечина. «Дрянь!» Вопли, рыдания, аплодисменты, и мы с ней уходим за кулисы. Я – за ней, честно, задохнувшись в свои, сколько мне там было, я уже не помню, лет 27. Со всей своей танцевальной подготовкой так иду и, качая головой, говорю: «Алла Константиновна, ну скажите мне, пожалуйста, в чем же секрет вашей молодости?» Она обернулась ко мне, убрала у меня челку со лба: «Вечная эта твоя челка на глаза. Знаешь, я тебе так скажу, Ирина, я всегда любила и всегда была любима! Вот в чем секрет». Хитро так улыбнулась и пошла. А я подумала: вот настоящая Женщина! И усвоила для себя еще один урок – что такое женщина и актриса Художественного театра.

Не знаю, писала ли Алла Константиновна книги, открывала ли все свои ощущения? Но шлейф ее любовных историй, ее романов, ее одержимых и фантастических влюбленностей и, пожалуй, каких-то героических поступков был известен. Все знали, как она писала Сталину и очень просила не отсылать ее последнего мужа на Север служить. Не побоялась. И выиграла. И все это посчитали по тем временам героизмом.

Когда через неделю ее не стало, я стояла около ее гроба, плакала, как мы все, нам было ее безумно жалко, это было

так неожиданно, никто не думал. Она никогда не была больной. Она всегда была здорова и сильна духом и телом, и никогда не сдавала позиций. И так в неделю ушла, после операции, после института Бурденко, так и не придя в себя. Около гроба плакал ее генерал, плакал, как ребенок. Взял ее руку. У нее были очень красивые руки. Во всех ее знаменитых ролях – немного приподнятая голова и ее закинутые руки... Это ее любимый жест. Очень многие актрисы это повторяли. Я никогда этого не делала. Потому что хотелось быть всегда самой собой.

И он эту очень красивую руку взял, целовал, снял ее кольцо, надел ей на палец свое кольцо. Обручальное. А ее надел на свой палец. Очень скоро его не стало. И все говорили, что Аллочка забрала его туда, наверх. Конечно, любовь является движущим фактором, или истоком, или импульсом в творчестве. Ведь как ты играешь роль, с кем ты играешь роль – очень важно.

Одной из самых первых и самых интереснейших ролей, которые обеспечили мне начало карьеры, и какой-то бум, в театральной среде уж точно, стала роль Маши в «Чайке». Я уже была актрисой Художественного театра. И до этого у меня уже была роль Ольги в «Трех сестрах». И вообще, сначала надо сказать. Если я и состоялась в Московском Художественном театре, то прежде всего благодаря старейшим, уникальнейшим людям из этого театра.

Первым меня заметил и взял под свое крыло Борис Нико-

лаевич Ливанов. А произошло это очень просто. Я, как всегда, опаздывала, это моя вечная беда и привычка, а иногда и огромное достоинство, я чуть позже об этом расскажу.

Уже будучи женой драматурга Михаила Шатрова, я вошла в круг писателей, в круг удивительно интересных людей, о которых я обязательно буду говорить в книжке. 18-летней девочкой я попала в дом теперь великого Алексея Арбузова. Он меня называл «длинненькая». Потому что я была, как мне казалось, выше всех ростом. А еще ходила на каблуках. И я Арбузову безумно нравилась. И он мне – безмерно. По мне, что он драматург, это уже особая статья, это пишут критики. Но он был удивительным человеком. Он, в это время влюбленный в Риту Лифанову, уводил ее от Евгения Симоннова, они поженились и жили в крошечной квартирке, рядом с нами, в переулке Волкова. В этом же доме жил Вульф, который тоже стал моим другом и очень долго жил в этом же доме кооперативном, дохлом таком, блочном. Жуть, но в то же время там было так хорошо!

Так вот, я опаздывала в театр на репетицию в массовку – нас только вводили, молодых, принятых в театр, двух бывших студентов. На мне было надето чудное итальянское платье, рубашечка трикотажная. И тогда были модны такие пояса из золотых колец и конец спущен, я по лестнице бегом, а он, этот пояс, гремит на мне. Смотрю, стоит Борис Николаевич Ливанов, и рядом с ним его друг, замечательный артист, Ленечка Губанов, они разговаривали о чем-то. Ливанов сто-

ял в лучах солнца, света, у него были золотые, желтого цвета глаза, одержимые. Он громким голосом что-то рассказывал. Губанов слушал, они хихикали. Я, мимо них пролетая, только «здрась!» и бегом на следующую лестницу. Слышу сзади голос Ливанова: «Кто это?» Ответ Лени: «Это наша молодая новая артистка, Ирина Мирошниченко». – «А она что, с цепи сорвалась?» Я рухнула, прыгая по ступенькам. Громыхали эти мои кольца на поясе. И правда – цепь.

На следующий день я была вызвана на репетицию его нового спектакля под названием «Тяжкое обвинение». Весь спектакль состоял из маленьких эпизодов. Следовательно, его играл Коля Пеньков, приезжает в разные города и всех допрашивает. И он должен был допрашивать молодую учительницу. Белобородову. И старушку, очень смешную, монашка она была, ее играла великая Анастасия Георгиевская, с которой мы потом подружились и в течение всех лет жили душа в душу в этом спектакле и совершенно замечательно общались.

После моего полета по лестнице Ливанов меня вызвал на репетицию, и с этой минуты я оказалась под его крылом. Он стал меня учить, как школьницу, как девочку, как надо играть в Художественном театре. А я в это время пела французские песни, танцевала и мечтала играть в каком-нибудь музыкальном спектакле. Тогда не было понятия «мюзикл», но я мечтала двигаться. Мне безумно нравилась Любовь Петровна Орлова. Хотела быть, как она, такой же смеющейся,

звонкой, веселой, легкой и танцующей и поющей. А тут драма, театр.

Но Ливанов начал меня муштровать. И после «Тяжкого обвинения» я вдруг получила роль в великом спектакле Немировича-Данченко «Три сестры». К нам в театр были приняты Татьяна Васильевна Доронина и Светлана Иванова Коркошко. Насколько я понимаю, им надо было дать главные роли. А в «Трех сестрах» когда-то играла великая троица – Еланская, Тарасова и Степанова. И Георгиевская в роли Наташи. Вот это был фантастический состав. Но прошло время. Они вышли из этого возраста, и в спектакле играли уже три очень интересные, очень достойные, красивые актрисы – Кира Головки, Рита Юрьева, Рая Максимова. И тут к нам в театр были приняты две звезды. Одна – из Ленинграда, другая – из Киева. И режиссуре театра хотелось обновить весь состав «Трех сестер». Почему-то вдруг мне дали одну из главных ролей – Ольгу, старшую сестру, которая старше и Дорониной и Коркошко. По возрасту это было не так.

В роли Тузенбаха туда вошел Олег Стриженов, который был тоже принят в театр. Ленечка Губанов оставался Вершининым. Леонидов все так же играл Соленого. Любочка Стриженова – а тогда она еще не была Стриженовой – вошла в роль Наташи. И вот мы новым составом, новым коллективом влились в старинный спектакль Немировича-Данченко.

После этого поехали впервые в моей жизни на гастроли. В Японию. Это был 68-й год. Полетели все «старики», пото-

му что они везли «Мертвые души» или «Ревизора», точно не помню, и мы с «Тремя сестрами». Гастроли были мощнейшие, длительные, туда летели на самолете, а обратно мы должны были плыть.

До Иокагамы мы ехали поездом, а там садились на корабль и на нем плыли до порта Находка. А дальше уже поезд или самолет в Москву. Это был длинный тур. Мое первое знакомство с Японией. Безумно интересно.

Итак, 68-й год. Япония – очень низкорослая страна. А у меня тогда рост – метр семьдесят два да каблуки, в общем, метр семьдесят шесть как минимум. Нам не разрешали ходить по одному. Все ходили группами. И все равно за нами, я потом видела, шла какая-то охрана, а поскольку у меня очень хорошая зрительная память, я стала приглядываться к лицам. С первого взгляда японцы казались нам все на одно лицо, но потом мы стали их различать. И вот однажды я решила выйти на Киндзу, ну хоть чуть-чуть пройтись одна.

Боже мой, это такая улица – сначала вниз ведущая, а потом вверх. Народу – тьма, и я одна. Вот представьте себе, иду, с белыми длинными волосами, в белом платье, и все мне только по плечо, черненькие, замечательные, короткостриженные мужчины, все в аккуратненьких черных костюмчиках, в черных галстуках, белых рубашечках. И я над ними, над всей этой толпой. Это было безумно смешно, но при этом то вдруг кто-то меня ущипнет за одно место, простите, то кто-то толкнет, то кто-то улыбнется или дотронется.

Я была в шоке. Почему все мужчины меня хотят или ущипнуть, или суперфамильярно обратиться? Помню, расстроилась. Тут же свернула с этой улицы, вернулась в отель.

Вечером у нас был прием в советском посольстве. И там меня спросили: «Как тебе город?» Я: «Слушайте, это же ужас какой-то. Что это японцы все странные такие? То меня хватают, то заигрывают». И тут все стали хохотать. Оказывается, все газеты писали, что накануне приехала знаменитая американская группа стриптизерш. И что впервые в Токио будет показан американский стриптиз. И поскольку все американские стриптизерши огромного роста, белые и с длинными волосами, такие все из себя, меня приняли не за актрису из Советского Союза, а за американскую стриптизершу. Поэтому и вели себя так.

На следующий день я ходила уже без каблуков, в косынке, в очень скромной какой-то одежде, и обязательно с кем-то. Одна больше не гуляла.

Играли мы там очень интересно. В театре, где не было ни трансляции, ни перевода. Это было условие контракта японцев. Они якобы очень хотели слышать Чехова в подлинном русском исполнении. Им хотелось слышать русскую интонацию. А поскольку Чехов шел у них всегда, сюжет был понятен.

Спектакль начинался с моего монолога: «Отец умер ровно год назад, пятого мая, в твои именины...» Я произносила его, проходя по авансцене, немножко устремленная вверх,

вспоминая, рассказывая, и, конечно, я не должна была смотреть в зал. Открылся занавес, я все это начинаю, не смотрю в зал, только ощущаю его, и потом в какой-то момент я должна была повернуться и посмотреть на зрителей. И вот я поворачиваюсь и вижу в темноте много-много народу. Темноволосые. В костюмах. И у всех в руках открытые белые книжки. И они все смотрят вверх на сцену, и вниз в книжку, на сцену – и в книжку. У них еще были внизу на предыдущих сиденьях фонарики. Чтобы они могли спокойно читать. Можете себе представить? Я вижу зал, внутри у каждого сиденья фонарики, и они сидят и читают и смотрят на сцену. И головки так – вверх-вниз – вверх-вниз. Как маятники. У меня аж дух перехватило. Я сразу подумала: «Ира, нельзя смотреть в зал» – и стала смотреть куда-то там вверх, в небо. И, конечно, внутри хихиканье. Это было непривычно. Неожиданно. И очень интересно.

Они с таким уважением, с таким пиететом относились к Художественному театру, к нашей школе, к нашему актеру, и вообще к этим гастролям. Надо же было вот так подготовиться, и сидеть, читая и слушая, наслаждаясь нашим спектаклем и нашим текстом и нашими интонациями.

А финал спектакля, если вы помните, трагический, когда уходит Вершинин, когда убивают Тузенбаха. И остаются три сестры, все во внутренней истерике. Моя Ольга должна всех успокаивать. Она говорит: «Нет, надо жить!» Этот последний монолог через всю боль, через все страдания надо гово-

ритель: «Надо жить, надо». И вот я смотрю в зал, уже сама зареванная. Рядом Татьяна Васильевна стоит, взволнованная, и слезы из глаз. Светланка Коркошко. Она очень эмоционально играла свою Ирину. Нос красный. Мы все три, как одно целое. Соединившись вот в этом последнем монологе, смотрим в зал. Грохочет оркестр, мы смотрим, видя якобы уходящей, всю эту команду мужчин. И понимаем, что все наши надежды рухнули. У кого-то любовь, у кого-то мечта. Все это мы пытаемся в последней сцене передать. И вдруг я вижу – в зале японцы уже бросили свои книжки, достали платки и только утирают лица, потому что слезы из глаз. А потом овация. Это был незабываемый спектакль.



Ну что же. ХХІ век. Июнь – июль. Лето. Мы сидим на маленькой дачке в комнате, где жила моя матушка. Невольно вспоминается детство, кем хотела стать, а стать хотела балериной. Почему я об этом говорю? Потому что только что посмотрела премьеру «Пламя Парижа» в Большом театре. Спектакль новый, шумный и для меня совершенно поразительный. Балет, о котором я мечтала. Сначала он был когда-то реализован и исполнен Улановой в «Лебедином озере». Легкой, как мечта, воздушной, какой я не могла бы быть. Потом девчонкой я увидела Плисецкую, тоже как мечту. Мою мечту о балете.

Но в балет меня не приняли, из-за сердца наверное. А потом я поняла, что никогда бы не могла быть балериной из-за высокого роста. Даже моя любимица Плисецкая – метр семьдесят. Мне всегда казалась, что она совершенство и невероятно талантливая. Это, конечно, откровение XX века. Все то, что делала Майя Михайловна. Гениальная балерина, фантастическая женщина. И вот сейчас я смотрю премьеру «Пламя Парижа». Алексей Ратманский. Новый балет. Фантастический балет. Где танцуют все. Посмотришь – от левой кулисы до правой кулисы все летит, все несется, огромная экспрессия. И невероятное ощущение молодости, жизни, таланта. Это может быть Франция, революция. Все очень деликат-

но сделано. Потому что революция – это всегда что-то очень жестоко-мучительное, крикливо-безумное. По крайней мере во всей документалистике, которую мне приходилось видеть, это всегда ощущение какой-то беды. В балете этого нет. Балет совсем другой. Балет больше о свободе. Балет больше о раскрепощении человека. Балет больше о любви. О любви, которая и окрыляет, и срывает голову. И потом оставляет человека абсолютно одиноким, несчастным, поверженным в конце этого фантастического спектакля.

Смотря его, я хотела быть молодой. Мне хотелось выпрыгнуть на сцену из зала и полететь вместе с ними. И, естественно, ассоциативно начинала думать о моей работе, о том, какая она была? Похожая, подобная. Ощущение вот этого молодого, летящего, энергетически какого-то упоенного полета счастья, любви, куда-то ввысь.

Сразу вспоминается, конечно, «Татуированная роза» Романа Виктюка. Родилось все это очень неожиданно и странно. Я мало кому об этом говорю. Мне очень хотелось играть главную роль. Хотя в Московском Художественном театре в эти годы, ближе к 80-м, я играла очень много, почти все. Я дружила и дружу с Виталием Яковлевичем Вульфom. И он мне сказал, что в Ленинграде у Додина есть премьера – его переведенная пьеса «Татуированная роза» Теннесси Уильямса, и если я буду там, то нужно обязательно посмотреть. В это время я снималась вместе с Олегом Николаевичем Ефремовым в фильме «Комиссия по расследованию» именно

на «Ленфильме». Я была там, и он там был. И, пожалуй, у нас уже в тот момент были какая-то удивительная творческая дружба и единение. Потому что я очень много играла в его спектаклях.

Он вообще подбирал команду. Был удивительным лидером, который мечтал о театре единомышленников, о театре единой пульсации. Он всегда людей как-то привлекал, подбирал, влюблял в себя. Создавал атмосферу доверительности, как будто ты – самый главный его друг. Это удивительное его было качество, которое очень подкупало, и ты себя вдруг ощущал причастным к чему-то великому.

И вот тут на съемках я говорю: «Олег Николаевич, есть такая постановка у Додина». И мы пошли посмотреть этот спектакль. Меня, конечно, сразу как-то так увлекла главная роль. Я не помню имени актрисы, но играла она замечательно. Это был странный, современный, очень хороший спектакль. Ну у Додина не может быть плохого, это понятно. Но мне почему-то казалось, что если я смогу к этому прикоснуться, то все буду делать по-другому.

Я приехала в Москву, попросила у Виталия прочитать пьесу. Читала ночью. Уже как-то сразу примеряя на себя. Тот спектакль забылся, сейчас я уже его не помню. Это удивительное качество, которое я в себе выработала давно. Поэтому не люблю смотреть на других исполнительниц, на другие воспроизведения того, что делаю я. Например, очень много «Чаяк» есть. И я не хожу смотреть других Аркадиных. По-

тому что невольно буду думать: «Ой, вот тут она как я, а тут...» Короче, я не люблю сравнений. Мне всегда хочется идти одной, поплыть куда-то в свою сторону. Пусть это будет плохо. Неважно, как, но это моя сторона, и я хочу плыть только туда.

Так было и в тот раз. Я мгновенно забыла спектакль, забыла исполнительницу, я читала с чистого листа. Уже позже я видела Анну Маньяни в этой роли. Великую Анну Маньяни. Мне понравилось, но... Может быть, это ужасно прозвучит, но мне показалось, что моя Серафима – лучше. Потому что она – моя. А ее – была ее. Пусть она великая... Какая угодно. Итальянка. Она читала ее по-своему. А моя – то ли русская, то ли советская, то ли никакая по национальности. Вот она – моя.

Прочитав эту пьесу за ночь, я пошла к директору. В это время у нас директором был очаровательный, очень мной любимый Леонид Иосифович Эрман. Пришла и стала ныть: «Я хочу, чтобы это поставили в нашем театре». У нас как раз на Тверском бульваре на шестом этаже открывалась Малая сцена. «Давайте сделаем как экспериментальный спектакль...» На что он мне говорит: «Ирин, Ирина Петровна, я читал, я бы очень хотел, но, вы знаете, ни фондов, ни денег на это нет. Нужны деньги». – «Где взять деньги? – говорю я жестко и четко. – В Министерстве культуры».

Уже тогда, еще не говоря об этом с Ромой, я понимала, что ставить это будет он. Потому что он уже в Москве был

известен, в университетском театре уже был поставлен его спектакль по Петрушевской. И он у нас во МХАТе что-то сделал с Катей Васильевой по Рошину. Я не видела целиком, видела только кусок. Но это было очень современное, очень какое-то вольное, смелое, другое, непривычное во МХАТе, абсолютно не-ефремовское.

И вот я пошла в министерство к Иванову. Такой начальник... очаровательный человек. «Очаровательный», потому что он мне помог. Прихожу к нему, рассказываю, прошу, молю, чтобы он нам дал полторы тысячи рублей, как сейчас помню, на постановку. Что вы думаете? Дает.

Берем замечательного художника, великолепного Сережу Бархина. Даже к Ефремову не надо было идти, потому что все уже заваривается как что-то экспериментальное, которое будет на Малой сцене. Да, кто главный герой? Саша Калягин.

В пьесе главная героиня рассказывает о некоем своем возлюбленном: он разбивается в начале первого акта. Мы его не видим. А она ждет своего красавца Розарио. А потом прибегает какой-то задрипанный шофер, Альваро, и она говорит: «Боже, вы так похожи на моего Розарио!» И весь парадокс, что предложили не красавца какого-то невероятного, а потрясающего артиста. Сочного, смешного, яркого, мощного, талантливейшего. С Сашей Калягиным мы тогда уже были партнерами по двум или трем спектаклям. А он как раз начинал сниматься в «Механическом пианино» у Михалкова, и весь уже был там, в фильме. У него было полно рабо-

ты. Но вне плана несколько репетиций мы провели. Было это очень интересно. Потому что это какое-то сочетание вроде бы несочетаемого, и в то же время прекрасного, и огромный смысл в том, что человек любящий, человек влюбленный видит предмет своего обожания прекрасным. Может, это не соответствует действительности, но он видит так. И он преобразует любимый образ, даже если его нет рядом.

Вот так все и началось. Мы репетировали на нашей маленькой сцене. Вне плана. Все под знаком вопроса. Потом Саша отошел, возник Петя Смидович. Смешной, характерный, большой. Боксер такой. И очень дурашливый. Молодой, забавный, ну и я была тогда, простите, молодая, поэтому возраст не имел никакого значения. Просто был нужен тип.

Репетировали мы на Малой сцене, а рядом был другой, огромный репетиционный зал, в котором репетировал Ефремов. Там было тихо, нормально, спокойно, по-мхатовски. А в нашем помещении было все по-другому. Тихо на цыпочках приходила помощник режиссера: «В соседнем зале Олег Николаевич. Тише, пожалуйста, у вас такое творится, что мы не можем репетировать. Все прислушиваются: что здесь такое?»

А что тут такое было? Тут было так: «Ируська! – кричал Роман Виктюк. – Побежала через всю сцену как сумасшедшая! И на пол навзничь – шуст! И истерика тут же! Давай больше, больше! Ты понимаешь, что это такое – потерять любимого?» И вот он меня заводил совершенно не мхатовски-

ми, не какими-то привычными, не киношными, не театральными способами, а какими-то провокационными, молодежно-веселочеловеческими.

Я не могла понять, что он хочет. Вернее, я понимала, что он хочет убрать театральность вообще. Навсегда. Он хотел вытащить вот прямо как из пупка эмоции абсолютно какие-то полужвериные. Он хотел убрать мой профессионализм, мое, простите, мастерство. У меня уже было звание, у меня было много ролей в кино и опыт. Он хотел все это убрать, счистить и начать ощущать не актрису, а меня, какую-то мою внутреннюю струну. Мой нерв человеческий. Это было очень трудное знакомство. При этом вдруг он очень тихо начинал разбирать сцену от начала до конца. Очень скрупулезно.

Он – изумительный режиссер. Но имеющий какую-то свою специфику, свою школу. Требующую невероятной пластики, мобильности движений, эмоций, которые должны переплескивать через край, то ввысь, то куда-то вниз. Мне очень нравились эти перепады.

Может быть, вам неинтересно это читать, поскольку сейчас чисто профессиональный разговор. Но вдруг кто-то из актеров почитает, по крайней мере запомнит и услышит. Вот у Ефремова – одна школа. У Виктюка – совершенно другая. Он не разбирает умозрительно. Требуется только чистых страстей. А потом, когда эмоции тебя переполняют, он дает осознание головой. А позже наступает совершенно другой пе-

риод. Как-то так память срабатывает, что потом стоит только подумать, и весь тот комок ощущений, который он у меня на репетиции требовал, выходит мгновенно наружу. Это уже мастерство, и это уже опыт, и это уже то, что называется – «ты в материале».

Но помимо своих талантов, и творческих и человеческих, Рома обладает фантастическим умением всех обманывать. «Я у тебя буду в шесть часов», – скажет он, и очень убедительно. Я, как дурочка, уже готовлю, накрываю на стол, знаю, что будет. Но ничего подобного. В шесть его нет, в семь его нет, без чего-то восемь звонит: «Ируся, ты понимаешь, я сейчас...» Полетело-полетело, понятно, что подводит. «Я буду после десяти!» После десяти, что-нибудь в районе одиннадцати, звонок в дверь, стоит он и еще человека три с ним. Какие-то молодые парни, актеры какие-то. Кто-то замызганный, замусоленный. Кто-то, наоборот, какой-то весь наряженный. Глаза у всех одержимые. Ясно, что идут с репетиции. Все голодные. Тут же, все, что у меня есть в холодильнике, мечу на стол, и всех кормлю-пою, долго разговариваем.

Работал он днем и ночью. Жил в это время в коммунальной квартире, в крошечной комнате. За Сокольниками. И часто бывало, что я его подвозила туда на машине. И там, в этой квартире, была у него чудная соседка, девица, которая отвечала на телефонные звонки. Она была, по большому счету, как помощник генерального секретаря или помощник какого-то бизнесмена, или помощник какого-то олигар-

ха. Потому что она таким тоном разговаривала, и более того, потом я понимала, что она и все конфликтные ситуации как-то разрешала. Потому что Роме звонили и из Одессы, где он должен был спектакль выпустить уже вчера, но сегодня еще сидел в Москве, и из Ленинграда, где он должен был уже репетировать, а он еще или здесь, или где-нибудь в Харькове, или во Львове у родителей. Короче, он был неуловимый совершенно. Обманывал, всех подводил, но все это как-то раз-руливалось и как-то все запускалось и делалось параллельно.

Бегал он вечно в своих джинсах, в замечательной рубашечке и обязательно с косыночкой к накрахмаленной рубашечке. Аккуратненький, чистенький. Прекрасно подстриженный. Хорошенький. Ну, изумительный человек. И очень красивый человек, который, как никто, чувствует красоту и во всем ее видит.

Человек, одержимый театром, сценой, искусством. Фантастическая личность. Я и половины не смотрела из того, что успевал смотреть он. Это Рома.

А я в то время была поглощена этой ролью Серафины, она заполонила всю меня. При этом я параллельно играла Машу в «Трех сестрах», была Саррой в «Иванове», играла в спектаклях «Соло для часов с боем», «Валентин и Валентина», «Старый Новый год», «Последние дни», «Единственный свидетель». В общем, вела весь репертуар. Каждый вечер практически играла, но каждый день репетировала. И Рома вырывал время между спектаклями, вечером, ночью,

утром, когда угодно.

Как-то вечером, подготовившись к репетиции, записав себе все, смотрю на часы – полдесятого – рано для меня непомерно, и сама себе говорю: «Ира, ложись спать скорей, чтобы настало утро». Потому что утром репетиция с Виктюком «Татуированной розы». Вот сейчас я это говорю, у меня сердце сжимается от счастья и в глазах слезы. Потому что за всю свою длинную жизнь я больше никогда этого не испытывала. Никогда больше мне не хотелось скорее заснуть, чтобы скорее настало утро и можно было бежать на репетицию, на работу. Понимаете, какая степень счастья, какая степень творческого упоения была на этих репетициях. Поэтому они для меня совершенно неповторимы, как жизнь, как молодость, как любовь. Все как-то слилось воедино.

Наконец наступает премьера, и в это время я улетаю куда-то на Неделю советского фильма, кажется, в Чехословакию. И руководит всей нашей делегацией ни больше ни меньше министр культуры Демичев, который мне очень понравился, и, кажется, я ему тоже. Конечно, когда ты молода, успешна, когда ты обаятельна, контактна, любым начальникам такое нравится. Им, наверное, с такими людьми тоже интересно и весело. По крайней мере мое очень короткое общение носило какой-то очень теплый человеческий характер.

На первом же приеме я ему сказала: «У меня должна быть премьера, это совершенно новый, экспериментальный спек-

такль. Я знаю, что вы ходите на все официальные премьеры, а вот тут молодежный, новый, на Малой сцене. Понимаете, как будет здорово, если министр культуры придет и примет его!» У него глаза загорелись сразу же. Он тоже себя почувствовал молодым и каким-то озорным. Он говорит: «А что ты думаешь, приду! Но только не забудь позвонить». Я говорю: «Как же, попробуй до вас дозвониться. Вы же где-то там наверху, член Политбюро, министр культуры». – «Хорошо, вот тебе телефон, позвонишь и скажешь, что это ты и что ты приглашаешь. Только не забудь».

И я так кокетливо, весело, перед премьерой, не говоря ни директору, ни Ефремову, никому, звоню и говорю: «Это заслуженная артистка Ирина Петровна Мирошниченко, у нас договоренность с Демичевым, он просил, чтобы я позвонила и напомнила, что послезавтра премьера. Что мы очень его ждем. Он может кого-то послать или подойти к администратору – для него будут самые хорошие места, я все оставляю». Я потом уже поняла, какой бред несла. Понимаете, я попрошу администратора, чтобы члену Политбюро и министру культуры оставили два местечка из брони, смешно даже думать.

Короче, премьера. Сейчас мы, конечно, ленимся, так не делаем, а Ромка придумал очень забавно – якобы все начинается со свадьбы, которой так и не было на самом деле. И мы должны стоять вместе с моим партнером, он был в черном костюме, в бабочке, я в каком-то очень красивом платье,

при входе встречать всех зрителей и говорить: «Здравствуй-те, мы рады, что вы пришли, пожалуйста, женщины – в одну сторону, мужчины – в другую». Так построен спектакль, что посередине – дорога, все наше действие, а по бокам такие, знаете, перила, и за ними в одну сторону кресла, в другую сторону кресла. То есть абсолютное проникновение в реальность и в подлинность всего происходящего.

Но он еще добавил такой эпатаж, что с одной стороны сидят одни женщины, а с другой – мужчины. И мы разделяем пары пришедшие. Представляете, приходят с билетиками муж с женой, а я им говорю: «Нет, никаких мест тут нет, вы идите в одну сторону, а вы – в другую сторону». Потому что на итальянской свадьбе якобы, Ромка придумал, по итальянским законам, женщины в одной стороне, а мужчины в другой. А потом он мне говорит: «Ирუსь, ты не представляешь, какой будет эффект, когда ты говоришь монолог в сторону мужчин, а потом в сторону женщин, тут правильная идет энергетика от женщин и мужчин. А потом они будут переглядываться».

Я потом на спектакле стала это видеть. Представляете, сидит муж тут, а жена там. Они переглядываются друг с другом. Или идет парочка, которые хотят сидеть вместе, а их разделяют. Им обидно, что их разделяют. Они в протесте. А потом по ходу спектакля они ощущают, что такое быть разделенными. И когда в антракте они наконец встречаются, им хочется держаться за руки, быть вместе. Рома абсолютно за-

действовал таким образом зрительный зал.

И вот я смотрю, с краю идет Ефремов, рядом Эрман, естественно, с ними кто-то из администрации, секретари какие-то, целая делегация. И входит Демичев. На премьеру. На что я ему говорю: «Здравствуйте, я очень рада вас видеть». Слава Богу, что он пришел не с женой и мне не надо было их разделять, а с каким-то помощником своим. Я ему говорю: «Естественно, я сажаю вас в самый центр». Посадили его среди мужчин на первый ряд.

Спектакль был потрясающий. По всем компонентам. По эмоциональности, которая у меня и у всех актеров зашкаливала, по выстроенности, по музыкальности. По жизненности. Очень живой спектакль. Даже сейчас у нас Олег Павлович Табаков очень ревностно, очень скрупулезно отсматривает все спектакли и очень тонко чувствует, что живо, а что уже чуть-чуть с нафталином. Или что уже чуть-чуть умирает. Он видел его, принял и оставил в репертуаре.

Знаете, как трудно играть глаза в глаза. Все равно момент экзамена, трусости и волнения присутствует. Одно дело – играешь просто перед незнакомым зрителем, который приходит и смотрит на тебя, кто-то любя, кто-то безразлично, кто-то зевает, кто-то с работы, кто-то не знает, куда ноги деть и руки. А потом потихоньку-потихоньку они как-то так раз – и входят в эти события. Что приятно, сколько мы играли, я однажды только заметила (потому что я всех вижу, в зале не так много места), после антракта два опустевших кресла. Я

расстроилась жутко. Думаю: «Ушли». Не понравилось. Играю дальше себе, играю, и, о боже, смотрю, через все коленки, по ходу действия, эта пара перебралась и села. Я поняла, что опоздали: или в буфете задержались, или где-то еще.

С Ромой Виктюком мы подружились. И знаете, как-то, я бы сказала, даже породнились душой. Потому что родственность – это странное чувство. Можно иметь родственников по крови, видется часто или редко, уважать и понимать, что это часть твоей плоти и крови, а есть люди другой национальности, с другого континента, но что-то с ними роднит. У вас так не бывало? Что вдруг ты понимаешь, что он думает так же, как и ты, чувствует так же, можно даже ничего не говорить, сказать глазами, и все понятно, просто подмигнуть, переглянуться и так вообще все ясно с полуслова. Так смешно.

Ромка, конечно, мне родной человек. По многим своим душевным человеческим качествам. По таланту. По желанию видеть в жизни только прекрасное. Потом эта жизнь по затылку грохнет тебя со страшной силой, но снова выворачиваешься и снова видишь: ой, как красиво! Ой, как хорошо! Это качество замечательное.

Мы стали делать следующий спектакль. «Украденное счастье» Ивана Франко. Потому что Ефремову и всем в театре очень понравилась «Татуированная роза» и наша работа. Хотя они говорили: «Ну, это жуткий характер! Жуткий подводи́ла, придет, никогда вовремя не выпустит». Но все равно

Ефремов дал следующую постановку. Уже в филиале МХАТа. На той изумительной сцене – Коршевской! Роман принес пьесу. Причем хотел ввести там западно-украинские танцы, песни, костюмы. Он привез из Львова гору настоящих национальных костюмов, в которые я влезла и другие влезали. Какие-то кокошники, расшивные юбки. Невероятно красиво. Я не знаю, мне кажется, этот спектакль не снят на пленку. Если бы он был снят, было бы так здорово его увидеть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.